



Эли
Визель

Следующее
поколение

*Книга издана при поддержке
благотворительной организации
Институт «Открытое общество»
(Фонд Сороса)— Россия
в рамках программы
«Горячие точки»*



*Elie
Wiesel*

*One Generation
After*

*Эли
Визель*

*Следующее
поколение*

*Перевод с английского
А.Яковлева*

*Предисловие
священника Георгия Чистякова*



«ТЕКСТ»
ЖУРНАЛ «ДРУЖБА НАРОДОВ»
МОСКВА 2001

ББК 84(7Сое)
В42

Художник Татьяна Иващенко

*В оформлении серии
использован фрагмент картины
Эдварда Мунка «Крик»*

ISBN 5-7516-0211-0

Copyright © 1965, 1967, 1970 by Elie Wiesel

© «Текст», издание на русском языке, 2001

ВОЗВЕЩАЯ РОДУ ГРЯДУЩЕМУ

«Истину невозможно изложить в письменном виде... она должна передаваться из уст в уста, губами и глазами». Так пишет Эли Визель, лауреат Нобелевской премии мира за 1986 год. Писатель родился 30 сентября 1928 года в находившемся тогда на территории Венгрии городе Сигет в приверженной религиозным традициям еврейской семье. Визель получил в детстве настоящее религиозное воспитание, научившись читать Библию у старых раввинов былых времен. Его ранняя юность прошла в трех лагерях смерти — Биркенау, Освенциме, а также в Бухенвальде, где погибли родители Э. Визеля и одна из его сестер.

Сам Эли Визель в 1945 году в возрасте семнадцати лет был освобожден из Бухенвальда войсками союзников и попал в Париж, где в 1948 — 1951 годах учился в Сорбонне и затем начал заниматься журналистикой. Именно поэтому до сих пор он пишет в основном по-французски, а Франция считает его своим и гордится им как французом, хотя он уже давно живет в США. Эли Визель — один из тех, кто сразу после окончания войны заставил человечество задуматься о том, что такое Холокост. В книге «Следующее поколение», которую вы держите теперь в руках в переводе на русский язык, Визель говорит о том, что рассказать о Холокосте невозможно, ибо «истину невозможно изложить в письменном виде».

Казалось бы, человек, знающий, что такое Библия не понаслышке, должен утверждать обратное, но только не Эли Визель, поскольку он Писание изучал не в уважаемых учебных заведениях Запада, а впитывал в себя с голоса сначала от своего деда Додье Фейга, который подобно древним мудрецам Израиля вроде Гиллеля или раби Акивы был неутомимым тру-

жеником и делал все сам — «доил коров, пахал землю, залезал на деревья за грушами, яблоками, абрикосами», а потом от раввина из Борша, «послушать проповеди которого собирались сотни людей из окрестных деревень».

«Часами простаивал я, — пишет Эли Визель, — за спиной у раввина и изо всех сил старался молиться с ним в унисон». Библию, как Слово Божие, которое «живо и действенно и острее всего меча обоюдоострого», он получил из рук, а вернее, впитал, именно впитал в себя, с уст старших. Он усвоил Писание как истину живую, переданную ему живыми людьми, а не вычитанную из старой книги, взятой с полки в научной библиотеке. Буквально по слову псалмопевца, который говорит в начале семьдесят седьмого псалма: «Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему».

Библия — это, конечно, книга, состоящая из слов и букв, и, как всякую книгу, в древности ее писали на пергаменте, теперь печатают в современных типографиях на бумаге. Но как Слово Божие, как главная святыня человечества, как тот единственный текст, прочитав который мы (как иудеи, так и христиане!) благоговейно касаемся его губами, Библия не просто сохранилась донныне (как, например, гомеровские поэмы или «Энеида» Вергилия) в таком-то числе рукописей, но была вручена Богом людям, чтобы они сохранили ее, передавая из рук в руки, из поколения в поколение. И опять-таки это знают все верующие как иудеи, так и христиане по опыту своей веры. Истина жива, пока она живет среди людей.

Визель понял это еще ребенком, но он же оказался свидетелем того, как тот мир, внутри которого он вырос, тот мир, где он учился вглядываться в ночь и слушать молчание Бога, рухнул, а вернее, задохнулся в газовых камерах и сгорел в печах Освенцима, Майданека и Трешлинка. Символом этого исчезнувшего мира становятся часы, которые Эли Визель зарыл в землю в саду своего дома в Сигете в тот день, когда его семья покидала родной город. Через двадцать лет после того, как война была окончена, он нашел эти часы сгнившими и полными червей и снова похоронил в том самом месте, где они некогда были зарыты...

Шесть миллионов живых людей исчезли с лица земли. И среди них все те, среди кого жил Эли Визель в годы своего детства и юности. Рассказать об этом действительно невозможно. Но попытаться — необходимо. И именно это делает Визель в своих книгах. Одна из первых, повесть «Ночь», воспоминания о пережитом в немецких лагерях смерти, была опубликована в 1958 году. Позднее эта повесть была переведена на восемнадцать языков. Визель написал около тридцати книг, значительная часть которых, как, например, единственный написанный на идише роман «И мир молчал» (1956), «Рассвет» (1961), «День» (1961), «Песнь мертвых» (1966) и другие, посвящена трагедии еврейского народа во Второй мировой войне.

Как рассказать о Холокосте? «Сколько свечей зажечь, сколько молитв прочесть и сколько раз... я по-прежнему не знаю, — пишет Эли Визель, — что нужно делать, чтобы сохранить в памяти образ города, который с каждым днем кажется мне все более нереальным». В 1972 году Визель публикует книгу «Во славу хасидизма», которую составляет из хасидских легенд, преломленных через воспоминания собственного детства. И опять он говорит здесь о той самой истине, которая передается только из рук в руки. Бог... Можно ли верить в Бога после Майданека и Освенцима? Этим вопросом задавались с 40-х годов и до сих пор задаются самые разные философы, вышедшие как из христианства, так и из иудаизма. Эли Визель отвечает на этот вопрос своей лирической прозой, когда просто вспоминает раввина из Галиции, с которым столкнулся в лагере. Имени его он не запомнил, а возможно, и никогда не знал. «В памяти сохранился лишь его незабываемый голос».

Только голос. Как голос Иоанна Предтечи. «Глас вопиющего в пустыне», как сказано у Исаяи. «Ты должен выстоять. Слышишь? — говорил Эли Визелю неизвестный и, казалось бы, забытый раввин из Галиции. — Выстоять любой ценой. Главное, не поддаваться злу, от кого бы оно ни исходило». Этот человек знал на память не только Тору, то есть Пятикнижие Моисеево, но и талмудические комментарии к ней. Как делали это великие иудейские ребе в далеком прошлом, он с голоса учил Эли Визеля. «Сначала он читал отрывок по памяти, затем я его повторял, после чего мы подробно и всесторонне его

обсуждали... Потом раввина перевели в другой лагерь, и больше писатель его не видел.

Мир, от которого не осталось ничего, кроме проржавевших и навсегда похороненных в земле часов, на страницах книг Эли Визеля не просто оживает, но оказывается необходимым для всех нас, евреев, русских, итальянцев, для нас, иудеев, христиан, сомневающих, неверующих и агностиков, а населявшие его люди становятся нашими друзьями и нашими вечными спутниками на жизненной дороге. «Что ответить человеку, — пишет Эли Визель, — который не понимает, почему Бог хранит молчание в тот самый момент, когда человек — любой человек, еврей или нееврей, — как никогда прежде нуждается в Его слове, не говоря уже о Его милосердии». На самом деле, сам автор (как и любой из нас) не понимает, что нужно ответить этому человеку. И отвечает ему не он, а те, о ком он, Эли Визель, пишет, — его дедушка Додь Фейг, раввин из Галиции и многие другие.

Невозможно читать книги Визеля и не плакать, но и плакать, читая его книги, нельзя, стыдно, недопустимо и аморально, потому что то, о чем рассказывает писатель и чему он был свидетель, неизмеримо больше любых слез, любого отчаяния, любой нашей реакции на то, что случилось и затем было названо словом Холокост. «Все раввины, все мудрецы, все святые с самого начала нашей истории готовились к тому, — сказал однажды Эли Визелю раввин из Галиции, — что здесь происходит». Страшные слова... Но в них очень много правды. Зло, страшное человеческое зло, воплотившееся в XX веке в режимах Гитлера и Сталина, на самом деле просто не могло не обрушиться на тот народ, что пронес сквозь тысячелетия и сохранил для нас Слово Божие, дыхание Духа Святого... Пятикнижие, пророков и псалмы... Ту самую истину, что передается только от человека к человеку, из уст в уста и из рук в руки.

И именно поэтому Гитлер стал уничтожать евреев, а Сталин в СССР — и евреев, и христиан — прежде всего православных, которых в его владениях было просто больше всего. Священников и простых верующих, всех тех, о ком я, православный священник конца XX столетия, так много знаю, ибо кого-то из

них все же застал в живых. Православные люди, обреченные на смерть советским режимом. Как они похожи во всем, вплоть до мелочей, на тех евреев, о которых пишет Эли Визель... И те, и другие пели одни и те же псалмы, только одни на иврите, а другие по-славянски... И те, и другие знали, что такое молитва и что такое то молчание, через которое к нам приходит Бог.

Следующее поколение (те, кто родились после 1945 года!) должно узнать о Холокосте не из учебника по истории, но от живых свидетелей. Эли Визель — один из них. Знаток Священного Писания и тончайший поэт, мальчиком переживший Освенцим и Бухенвальд, один из самых активных и бескомпромиссных правозащитников в современном мире, человек, активно выступающий в защиту тех групп населения в самых разных странах, что подвергаются преследованиям из-за их религии, расы или национального происхождения. «Следующее поколение», а именно ему не случайно посвятил свою книгу Эли Визель, должно не просто знать о том, что было, но уметь сделать так, чтобы история не повторилась. А это порою бывает очень трудно.

Следующее поколение — это и те евреи из Израиля, которые летом 1967 года, когда Насер и другие арабские лидеры той эпохи, подстрекаемые из Москвы и со страниц газеты «Правда», готовились сбросить евреев обратно в море, и на Иерусалим, как говорит Эли Визель, уже легла тень Освенцима, не дали превратить себя в жертву, а стали сопротивляться. Последнее приняли далеко не все. Визель вспоминает, что многие европейские интеллектуалы увидели в победе Израиля над арабами измену его священной миссии и чуть ли не требовали, чтобы еврейский народ вновь стал жертвой. Тогда бы они кинулись на его защиту и рыдали бы над развалинами его городов, глядя на них из благополучной Европы и своих благоустроенных кабинетов. Однако народ Израиля не стал играть по этому сценарию. Он тогда победил. Это была победа «следующего поколения». Поколения людей, родители, деды, а порою и старшие братья или сестры которых погибли в газовых камерах Освенцима и Трешлинка. Поколения тех, кто был всего лишь на десять лет младше, чем Анна Франк.

Но как победил народ Израиля в июне 1967 года? Эли Визель вспоминает о том, как во время взятия города по одной из улиц старого Иерусалима пробежал молодой араб; увидев его, израильские военные решили, что он хочет сдаться. Но оказалось, что это был просто мирный житель, жена которого начала рожать, и он искал военного врача израильской армии, чтобы тот принял роды. И это во время штурма города, казалось бы, самыми страшными врагами арабов... С точки зрения Визеля, эта маленькая зарисовка с натуры показывает, какими именно победителями стали израильтяне и какова психология «следующего поколения», среди представителей которого людей сознательно верующих очень немного.

Быть побежденным страшно, но порою психологически это легче, чем побеждать. И если человек не хочет сдаться, история непременно поставит его перед труднейшими вопросами. Как бороться с врагом и при этом не ожесточаться? Как можно побеждать зло, не беря при этом на вооружение его методы? Что необходимо для того, чтобы, отстаивая свои права, все-таки оставаться на позициях истины? Разумеется, Эли Визель не знает ответов на все эти вопросы, но своею книгой он, а на самом деле его герои (все без исключения жители маленького Сигета, неизвестный по имени раввин из Галиции и все шесть миллионов тех, кто погиб в годы нацизма в лагерях смерти) помогают нам, каждому по-своему, найти на них наши собственные ответы...

*Священник
ГЕОРГИЙ ЧИСТЯКОВ*

СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Двадцать пять лет. Четверть века.

И мы замедляем шаг, пытаясь сориентироваться, понять: что значили все эти годы? Для одних — это новое поколение, для других — вечность. А может, поколение без вечности.

Дети, которым не суждено вырасти; старики, которые обречены на вечную жизнь. Тишина, поглотившая целые народы, чувство вины, охватившее все человечество. Отчаяние, которое обрело лицо, но не имя. Память, которая проклята, но изжить проклятье и ненависть не готова. Попытка понять, возможно, даже — простить. Вот что такое это поколение.

Наше поколение.

Для следующего же все это очень скоро станет первобытной историей. Никак не связанной с сегодняшними конфликтами и спорами. Не имеющей никакого влияния на мысли и действия подростков, которые жаждут жить и завоевывать будущее. Прошлое интересует их лишь постольку, поскольку им можно пренебречь. Освенцим? Первый раз слышу.

И все же в истории есть своя логика. Будущее — это не более чем сумма прошлого и настоящего. Все взаимосвязано, у всего есть свое место. Расстояние от эпохи гробовой тишины Холокоста до эры телекоммуникаций человек преодолевает с поразительной легкостью. Еще совсем недавно он томился за стенами гетто, а сейчас совершает полеты на Луну. Если сегодня мы торопимся жить, то лишь потому, что вчера торопились умирать. Если сегодня мы наделяем

машины небывалой мощью, то лишь потому, что предыдущее поколение столь безрассудно вверило свою судьбу человеку.

Весна 1945-го. Придя в себя от кошмара, мир обнаруживает лагерь, фабрики смерти. Безрассудный ужас, унижение — неограниченная власть зла. У победы трупный запах.

Да, можно осквернить жизнь и творение Божие и не испытывать угрызений совести. Поливать цветы в саду всего в двух шагах от колючей проволоки. Проводить чудовищные эксперименты над людьми и продолжать верить в бессмертную душу. Любоваться красотой пейзажа, смешить детей — и регулярно, день за днем выполнять обязанности убийцы.

Тогда процветала наука убивать, наука спецлабораторий, деловых совещаний, графиков и таблиц. И наукой этой занимались не уличные подонки, не отбросы общества. У многих были дипломы философов, социологов, биологов, врачей, психиатров и искусствоведов. Были среди них и юристы. И — подумать только! — теологи. И аристократы.

Победители потрясены, но приходится считаться с фактами: кто б мог подумать, что броня, защищавшая человека от самого себя и других, окажется столь тонкой, столь уязвимой. Да, добро и зло сосуществуют, не влияя друг на друга; даже дьявол стремится к идеалу: он тоже считает себя чистым и неподкупным. Унаследованные ценности ничего не стоят. Семена, посаженные предыдущими поколениями? Втоптаны в песок, разметаны ветром. Ничему нельзя верить, настоящее с кошмарной скоростью истребляет радость побед и достижений. Цивилизация? Пена, что на мгновение появится на гребне волны и тут же исчезнет. Отсутствие морали и извращенный вкус к кровопусканию никак не зависят от социальных и культурных корней. Можно родиться в аристократической семье, получить первоклассное образование, уважать родителей и соседей, ходить в музеи и на литературные вечера, активно участвовать в общественной жизни — и в один прекрасный день без ма-

лейших колебаний, без всякого чувства вины начать убивать мужчин, женщин, детей. Можно стрелять из пистолета по живой мишени — и вдохновенно сочинять стихи, писать картины. Духовное наследие не предохраняет, этические нормы не защищают. Вы можете пытаться сына на глазах отца — и продолжать считать себя человеком культурным и религиозным. И видеть во сне мирный закат над морем. Будь убийцы беспощадными дикарями или слабоумными садистами, шок был бы не столь велик. И разочарование тоже.

Адольф Эйхман был самым обычным человеком. Он не страдал бессонницей и отсутствием аппетита. Был образцовым отцом, заботливым мужем. Когда его судили в Иерусалиме, я не мог отвести от него глаз. По наивности я искал отметину у него на лбу, я почему-то думал, что тот, кто сеет смерть, должен выкопать могилу в самом себе. Я был потрясен тем, как естественно и спокойно он себя вел.

Говорил он так, будто все происходившее было в порядке вещей; от его слов веяло мертвящей ясностью, тошнотворной банальностью. Он держался с подчеркнутым безразличием, выражался стертым языком, начисто лишенным иронии или эмоциональности, монотонно излагал даты, цифры, содержание документов. Поначалу он меня напугал. Мне пришло в голову, что, если он психически здоров, я должен выбрать безумие. Нам вдвоем места на земле не было: либо он, либо я. С таким, как он, у меня не могло быть ничего общего. Мы не могли жить в одной Вселенной, подчиняться одним законам.

И вместе с тем это был человек — такой же, как все.

Мы были свидетелями метаморфозы, происходившей на многих уровнях и оказывавшей воздействие на все человечество — на палачей и на их жертв. Первым не терпелось стать палачами, вторым — жертвами. За какой срок это произошло? За одну ночь, одну неделю. За год, а может, за три. Время ведь менее существенный фактор, чем способность

человека отказаться от своего «я». Для жертвы «концентрационной» системы уже не имело значения, что в прежней жизни он был интеллектуалом, рабочим, бунтующим студентом или преданным мужем. Несколько избиений, несколько истошных воплей — и человек превращался в пустое место, полностью терял свою индивидуальность — думал иначе, чем раньше, не мог смотреть людям в глаза, да и собственные его глаза становились другими. Лагерный закон и лагерная истина превосходили все законы и все истины, и заключенному оставалось только одно — подчиниться. Испытывая голод, он думал о супе, а не о бессмертии. После длинного ночного перехода он стремился к покою, а не к состраданию. Неужели можно пасть так низко?

Люди хотели понять, что притягивает палача к преступлению, жертву — к смерти и что подготовило почву для Освенцима. Объяснения чередовались с теориями, в которых было всё — от политики до массового психоза; адекватной не оказалось ни одной. Ситуация — тупиковая. Освенцим оставался непостижим. Неподступен. Отсюда — разочарование, охватившее послевоенное поколение. Ему было необходимо проникнуть в тайну, постичь, чем пропасть влечет к себе человека, определить, что толкает его в эту пропасть. Чтобы ответить на все эти вопросы, понадобилось бы опросить многих палачей — и многих мертвецов. Первые давно скрылись, вторые до сих пор не похоронены.

Вот почему мы обратились к жертвам, к тем, кто выжил. И попросили их раскрыть свою душу до предела, погрузиться в бездонные глубины своего естества — и рассказывать, и рассказывать до полного изнеможения, до исступления. Как все было. Действительно ли убийц было так много и они так добросовестно делали свое дело? Действительно ли механизм не давал сбоев? Была ли это и в самом деле целая вселенная со своими богами и жрецами, с собственными монархами, у которых были свои законы, свои философы и свои философские школы? А вам, как удалось выжить вам? Владели ли вы этим искусством раньше? И как вам удалось

сохранить рассудок? Как, скажите, вы можете сегодня спать, работать, ходить в ресторан и в кино, как можете общаться с друзьями, есть с ними одну и ту же пищу?

Люди хотели знать все, получить ответы на все вопросы, выяснить многое из того, что было окутано мраком неизвестности. Тайна пугала больше всего.

Но оставшиеся в живых отмалчивались, отвечали односложно, невнятно. Словно на эту тему был наложен запрет. Хранили молчание. В основном потому, что есть раны, есть боль, о которых стараешься не говорить. А еще от страха. От страха прежде всего. От страха, что тебе не поверят, скажут: «Да у тебя большое воображение. Того, что ты рассказываешь, просто не могло быть». Или: «Ты хочешь нас разжалобить, твои страдания преувеличены». Вдобавок они боялись — и это, пожалуй, самое главное, — что не выполнят свою миссию, что похоронят свой уникальный опыт под градом избитых фраз и образов. Боялись сказать то, чего говорить было никак нельзя, выразить то, что выразить на человеческом языке невозможно, попасть в западню избитой полуправды.

Рано или поздно все они пришли к тому, что лучше будет замолчать навсегда. Чтобы, по примеру некоторых мистиков, передать образ Холокоста молчанием. Откажись говорить они все, и их общее молчание сделалось бы непереносимым: воцарившаяся тишина оглушила бы мир.

Когда же они соглашались приподнять завесу, им приходилось преодолевать многие препятствия и запреты. Они успокаивали себя — труден лишь первый шаг. В любом случае мы лишь вестники. Если нам повезет, нашим опытом воспользуются другие. И тогда они узнают, на что способен человек при тоталитарном режиме, когда стирается грань между человечностью и бесчеловечностью. Узнают, к чему ведут и из чего состоят войны. Обнаружат связь между словами и пеплом, который из-под слов не виден.

Как же они были простодушны, эти оставшиеся в живых! Они пытались задним числом отыскать смысл в выпавших на их долю испытаниях — смысл, которого не было из-

начально. Как знать, рассуждали они, если голос наш будет услышан, человечество изменится. Изменится его представление о самом себе. Люди учтут наш опыт и впредь будут знать, что можно делать и чего нельзя, какие цели преследовать, а какие нет. И тогда они будут строить реальность, сообразуясь с желаниями, а не по принуждению. Тогда свобода человека будет соразмерна с его творческим импульсом, а не с инстинктом разрушения.

Через двадцать пять лет после подобных рассуждений мы ощущаем лишь разочарование и стыд. Балансовый отчет удручает. Больше того: сегодня ситуация окрашена в фарсовые тона. В Германии, где нацизм вновь подымает голову, бывшие убийцы скрываются под респектабельной личиной судей, прокуроров, предпринимателей, покровителей искусств и даже духовенства. Французский политик, притом член парламента, открыто обвиняет евреев в том, что они спекулируют на своих страданиях. Лишенные имущества и прав, евреи в арабских странах живут в постоянном страхе. Их поносят в Советском Союзе, преследуют в Польше. И — невиданное дело — антисемитизм докатился даже до Китая.

Вот почему оставшиеся в живых могут задаться законным вопросом: не было ли ошибкой давать показания, подтверждая тем самым свою веру в человека и в слово?

По крайней мере один из тех, кто выжил, часто готов ответить на этот вопрос утвердительно.

Раз общество так мало изменилось; раз столько стратегов собираются взорвать нашу планету и столько людей идут у них на поводу; раз одни по-прежнему испытывают тяжкий гнет, а другие — полное безразличие к их судьбе, напрашивается вывод: неспособность извлечь опыт из одной катастрофы порождает другую. Ни один из уроков прошлого не пошел впрок; Освенцим не послужил даже предупреждением. Вас интересует более подробная информация? Раскройте сегодняшнюю газету.

Если свидетеля обвинения считают фантазером, у него возникает чувство беспомощности и вины. Он был не прав,

навязывая другим свой опыт, надоедая миру, который не желает обращать на него никакого внимания. Он был не прав, распахнув двери объятого пламенем храма: внутрь никто не заглянул. Хуже того: заглянули многие, но ничего не увидели.

А потому поневоле спрашиваешь себя: надо ли вообще об этом писать? Сама по себе задача возродить после стольких лет кошмарную реальность одного-единственного человека в одном-единственном концентрационном лагере граничит со святотатством. Чем достовернее повествование, тем искусственнее оно выглядит. Тайна должна оставаться тайной. Раскрой мы ее, и она становится мифом, ее можно опорочить, принизить. Ведь слова в конечном счете теряют свое целомудрие, свою колдовскую власть. Истину невозможно изложить на письме. Подобно Талмуду, она должна передаваться из уст в уста, губами и глазами. Из-за своего уникального опыта Холокост не поддается литературному изложению. Мы думаем, что описываем событие, а передаем лишь его отражение. Никто не вправе говорить от лица мертвых, никто не властен заставить их говорить. Нет образа настолько безрассудного, крика настолько богохульного, чтобы высветить участь единственной жертвы, покорной или бунтующей, которая молча идет навстречу смерти. Идет без гнева, без сожаления. Быть может, с грустью.

В этом и состоит дилемма рассказчика, который видит себя прежде всего свидетелем, в этом — трагедия вестника, который не в состоянии передать свое послание: как об этом следует говорить и как не следует? Разумеется, никакой другой темы для него не существует: любая ситуация, любой конфликт, любое наваждение покажутся в сравнении бледными и пустыми. И все же как подступиться к этой вселенной мрака и не превратиться в спекулянта, торгующего вразнос человеческими страданиями? И не изменить себе?

В Талмуде говорится, что Йонатан бен Узиэль штудировал Тору с таким усердием, что вокруг него вспыхнуло пламя, пламя Синая, и было оно настолько сильным, что осле-

пило и опалило крылья подлетевших погреться птиц. То же и с автором, пишущим о Холокосте: он непременно обожжет пальцы — а то и всю руку.

И тем не менее рассказать об этом было необходимо. Невзирая на весь риск, на все возможные недоразумения. Рассказать ради наших детей. Чтобы они знали, откуда они родом, каково их наследие. Прошлое, унесенное в облака, следовало вернуть на землю; облака, впрочем, тоже. Мы должны были посмотреть мертвым в лицо, снова и снова, чтобы умиротворить их, быть может, даже отыскать среди них, вопреки всем кривотолкам и нелепицам, некий символ, забрезжившую надежду.

Но нас с вами ждут перемены. Хотим мы того или нет, четверть века, прошедшая с тех пор, является поворотным пунктом, своего рода демаркационной линией. Впредь о Холокосте будут говорить иначе. Или не говорить вообще. А если говорить, то недолго. Уже сейчас наше внимание привлекают другие свершения. На смену эпохе Освенцима, которая пусть и неохотно, но близится к завершению, приходит эпоха завоевания космоса.

Мы уже знаем некоторые, доселе неведомые загадки нашего спутника Луны — но никогда до конца не узнаем тайну Освенцима. Узник концентрационного лагеря постарается наложить печать молчания на свою память; свидетель обвинения даст зарок никогда больше не давать показаний. Инвентаризация закончена. Душам умерших придется смириться с неизбежным. Скоро о них некому будет говорить. И некому слушать.

НАЧАЛО ПУТИ

Прощальный взгляд человека на начало своей жизни не похож ни на какой другой, ибо, как и первый взгляд, он становится частицей его самого — неотъемлемой и неизменной. Даже сам Господь Бог не в силах изменить прошлое человека, человек же свое отношение к Богу изменить может. Оба связаны одним началом.

Забуду ли я когда-нибудь начало своего пути? Я вглядываюсь в него и знаю, что делаю это в последний раз. Я уже никогда не смогу передать свое тогдашнее выражение лица. И унесу его с собой, как мелодию, что никогда больше не будет исполнена, как тайну, в которую некого больше посвятить. Я вспоминаю последний раз в жизни.

Двадцать пять лет отделяют свидетеля от предмета его свидетельского показания. Двадцать пять лет блужданий в бессвязном, часто враждебном, всегда непреодолимом миропостижении, двадцать пять лет сомнений и тревог, осложняющих жизнь другим и самому себе. И все это время я что-то искал, не зная сам, что именно. Зато теперь знаю. Я искал еврейское местечко в горах. Крошечный городок, куда мне хотелось войти в последний раз и оставить там все, что у меня есть, — свою память.

Еврейское местечко. До сих пор вижу его, вижу повсюду. Вижу настолько отчетливо, что часто сам над собой смеюсь: если так будет продолжаться и дальше, ты сойдешь с ума — этого городка больше нет и никогда не было. Но я ничего не могу с собой поделать, я вижу только его. Цадик и певцы, мудрецы и шумная детвора, нищие фантазеры и коммерсанты, почти такие же неимущие, как фантазеры.

Я вижу их на главной площади; потные, суетливые, они все время куда-то бегут — кто на рынок, кто в школу, кто на молитву, кто на ритуальное омовение, кто на кладбище. Вижу даже это кладбище, хотя был там всего один раз.

Соседи, знакомые, друзья. Иногда их присутствие становится настолько реальным, что хочется остановить кого-то из них, любого, и дать ему поручение: ступай скажи всем этим людям, твоим спутникам и моим, что они сбились с пути, что по этой дороге они в будущее не попадут; передай, что им грозит опасность, что человечество уже пустилось за ними в погоню, что оно жаждет их крови и их смерти.

Но я молчу. Боюсь, что этот человек возразит мне: «Я не верю тебе. Я не знаю тебя». Что он пожмет плечами и будет продолжать идти напрямиком к своей могиле, скрытой за пламенеющими облаками. Мне хочется кричать изо всех сил — но я боюсь его разбудить. Будить мертвых опасно — особенно если память у них лучше, чем у тебя. Опасно попасться им на глаза — особенно если они лишили тебя твоего города и детства, того самого начала, которое ты вспоминаешь в последний раз.

Сигет. Румынская, венгерская, австрийская провинция, лакомый кусочек для всех племен в этой части света. Несмотря на многообразие языков, на которых здесь говорили, на изобилие политических режимов, это было типичное еврейское местечко, каких между Днестром и Карпатами сотни. Благодаря тому, что евреев в городке было большинство, он исправно убирался на Йом Кипур, постился и оплакивал разрушение Храма на Тиша бе-Ав и напивался на Симхат-Тора.

Достаточно было в субботу выйти на улицу, чтобы почувствовать: сегодня Шабат. Магазины были закрыты, деловые центры замерли, городские конторы опустели. Для евреев, равно как и для их соседей-христиан, это был день полного отдыха. Старики собирались в синагогах и молельных домах послушать бродячих проповедников, молодые шли в парк, в лес или на берег реки. Заботы и тревоги могли подождать: Шабат служил прибежищем для всех.

Накануне, в пятницу днем, приближение Шабата уже давало себя знать. В преддверии праздника мужчины совершали ритуальное омовение. Женщины убрали дом, терли полы, сутились на кухне, стирали и гладили самые свои красивые платья. Вернувшись домой из школы, мальчики декламировали «Песнь песней». А потом из всех домов одновременно доносилось: «Шалом алейхем малахей хашалом — Будьте благословенны, о посланцы, полные блаженства, входите и уходите с миром, о ангелы мира...»

Все, раввин и невежда, богатый лавочник и мусорщик, работодатель и работник, обращались к ангелам Шабата одними и теми же словами, выражали одну и ту же благодарность.

— Кто они такие, эти ангелы? — спросил я однажды у своего деда, чьи вишницкие распевы потрясли меня — настолько необузданной и нежной была радость, которую они выражали.

Дед наклонился ко мне и прошептал на ухо секрет, который я запомнил на всю жизнь:

— Ангелы, дитя мое, — это все мы, сидящие за этим столом и за другими такими же. За столом, накрытым белой скатертью и преображенным в алтарь. Мы все — ты, я, наши гости. В этом и состоит сила и величие Шабата: он дает человеку возможность показать себя, восстановить связь со своим началом.

И тут до меня донесся трепет божественных крыльев — я слышал их, клянусь! Но с тех пор как я расстался с тобой, дедушка, с тех пор как перестал петь твои песни, больше я ангелов не видел, честное слово. Думаю, дедушка, они остались там, в нашем заброшенном городке в горах, — невидимые, как ты и я. Как все мы.

Дед жил в маленькой деревушке, по-венгерски она называлась то ли Бичкев, то ли Бокско. Там Додье Фейг и вел уединенную крестьянскую жизнь. Я любил слушать, как он рассказывал, как пел. И как молчал, любил слушать тоже.

Неутомимый труженик, он все делал сам. Доил коров, пахал землю, залезал на деревья за грушами, яблоками, абрикосами. Масляную лампу он зажигал только с наступлением темноты. Сидел на крыльце в кромешной тьме.

Вначале я не мог скрыть своего удивления:

— Дедушка, я ничего не вижу!

— Ты еще молод, — ответил он шепотом. — Со временем заговоришь иначе. А сейчас вглядывайся в ночь и сиди тихо.

Навещал я его только на каникулах, да и сам он приезжал в Сигет лишь на осенние праздники. Приезжал, чтобы пойти в синагогу, которая находилась напротив нашего дома и в которой послушать раввина из Борша собирались сотни людей из окрестных деревень. До сих пор помню, как я часами простаивал за спиной у раввина и изо всех сил старался молиться с ним в унисон, дабы наша молитва, пробившись сквозь стены храма, дошла до небес.

Однажды я увидел, что раввин бьет себя в грудь, умоляя Бога простить ему его грехи.

— Как такое возможно? — с тревогой поинтересовался я у деда. — Раввин — и нарушает законы Торы?

И тогда дед раскрыл мне еще одну тайну:

— Человек может быть непорочен и все же считать себя грешником.

На следующий год я рыдал, как раввин, и даже громче. Как и он, я признавался в многочисленных грехах и преступлениях, бил себя в грудь еще более иступленно.

— Кто ты, собственно, такой? — строго сказал, заметив это, дед и велел мне умерить свой пыл. — Подражать ребе нельзя. Ты можешь следовать его советам, подчиняться ему — но не подражать. Не пытайся сыграть его роль: попытка завладеть королевским скипетром наказуема. Даже если король отсутствует.

Славен был наш городок и другими духовными учителями, отличавшимися большей или меньшей славой или эрудицией. У каждого были свое святилище, свои ученики, свои советчики, свои благодетели, свои счастливые или не-

счастливые последователи — все они просили у Бога прийти на защиту людей, уже отмеченных судьбой. Бог, однако, к их просьбам прислушиваться отказывался. Вот почему, дедушка, мне не следует так уж казниться. А между тем список грехов, в которых я открыто признаюсь, становится все длиннее и длиннее, и я жду, чтобы кто-то мне объяснил, почему это так.

И все же, чтобы избежать недоразумений, хочу сразу же оговориться: святыми были далеко не все евреи Сигета. Далеко не все с утра до ночи изучали священные тексты или читали псалмы. У наших торгашей были свои недостатки и слабости; они были ничуть не честнее и великодушнее любых других торгашей. Богатые кичились своим богатством, бедные, как могли, скрывали свою нищету. Портные и сапожники, дровосеки и кучера, у которых были все основания впасть в отчаяние, не делали вид, что они поэты в душе; в их проклятом Богом нищенском существовании поэзии места не было. Сподвижники и жертвы Господа, они тем не менее не отличались добротой или благородством, были не способны подняться над своими лишениями и разочарованиями. Они ссорились, оскорбляли друг друга, сплетничали. Да, как и везде, у нас были свои завистники и лжецы, скряги и воры, даже клятвопреступники и вероотступники. Только сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, как безвредны были их пороки. От жизни и общества они хотели немногого: кровать, на которой можно спать, книгу, над которой можно предаваться мечтам, меламеда, чтобы учить детей уму-разуму, и знак свыше, предвещающий утешение, любой знак — заверение, что страдают они не зря. В ответ они всегда готовы были оказывать помощь школам, больным, бедным, сиротам, незамужним женщинам, престарелым и бездомным, неудачникам и бродягам. На них, людей заботливых и великодушных, всегда можно было положиться. Всякий раз, когда чести или жизни еврея грозила опасность, они, все как один, подымались на его спасение.

Я все помню. Помню краснолицего малого, глубоко оскорбленного тем, что в городе не пожелали воспользовать-

ся его помощью. Он был городским доносчиком, и с ним никто не разговаривал. Напрасно он уверял, что его профессия ничуть не хуже любой другой, что он не так уж опасен; все его знали, и все от него отворачивались. В синагогу он приходил, но к Торе не вызывался ни разу. Со временем он вынужден был уехать из города и даже сменить профессию.

Разумеется, были у нас и свои неверующие, они незабываемы тоже. Самым приметным из них был столетний старик, который ненавидел своих соседей хасидов за их частые и шумные сборища. «Раз они так кричат, — говорил он, — значит, их небеса находятся очень далеко, и это прискорбно, особенно мне, человеку, которому до неба рукой подать».

В молодости он никогда не выходил на улицу без своей собаки. Однажды он повстречал раввина в сопровождении слуги.

— Ты, в отличие от меня, не ребе, — заметил раввин, — но, как и я, нуждаешься в постоянном спутнике, который бы тебе прислуживал.

— Верно, — ответил неверующий, глядя собаку, — но в данном случае прислуживаю я.

На этом история не кончилась. Вместо того чтобы рассердиться, раввин положил неверующему руку на плечо и сказал:

— Я тебе не нравлюсь, но ты любишь свою собаку и, стало быть, способен на чувство, а это самое главное.

Спустя много лет этот же человек влепил своему сыну пощечину за то, что тот имел наглость критиковать раввина. С этим раввином я был незнаком, а вот защитника его помню.

Помню, помню.

Сумасшедший по имени Моше. Сумасшедшим он был только летом, а к Йом Кипуру разум его восстанавливался, и тогда он молился в амбаре с протекающей крышей, в Бом забытой деревушке, где не было ни раввина, ни канто-

ра. После праздников он учил азбуке маленьких детей, чьи родители не могли держать платного учителя.

Его я никогда не забуду. Широкоплечий, грузный, вечно голодный, с рыжей густой бородой и часто кровоточащими, распухшими губами. До сих пор чувствую на себе зоркий взгляд его колючих, испуганных глазок-щелочек на большом, измятом лице.

Школьники, жестокие и ленивые, часто преследовали Моше, и тот ничего не имел против. Иногда он спасался от них в нашем доме. Чтобы забыть боль, он пил и ел. Когда я слушал его, мне казалось, что я превращаюсь в кого-то другого. Он пугал и зачаровывал меня; я знал, он живет в своей собственной вселенной. Случалось, я пытался его разговорить, мне хотелось, чтобы он описал то, что видит, то, что его мучает, — но Моше предпочитал петь.

Когда через много лет я увлекся психиатрией, произошло это, подозреваю, из-за Моше. Один мой приятель поинтересовался, что я ищу в мире безумия.

— Они — одни, и они поют — поет уже само по себе их молчание, — ответил я. — И кроме того, они видят то, чего не видим мы.

Второй Моше — сторож. Слабый и робкий, глаза, как у побитой собаки, личико и тщедушное тельце больного ребенка. Он заранее принял поражение, примирился с человеческой мелочностью и жестокостью.

Не имевший гражданства, он был одним из первых «нежелательных иностранцев», на которых распространялось действие Закона о выдворении. Когда это было? Кажется, в 1942-м. Сколько человек было тогда депортировано? Сто, тысяча. Может, больше. Наверняка больше. Помню: все местечко — мужчины, женщины, дети — провожает их на вокзал, помогает нести набитые провизией сумки. Поезд отходит. В неизвестном направлении.

Вернулись немногие. И среди них Моше-сторож. Узнать его было невозможно: от его мягкости, робости не осталось и следа. Он стал нетерпелив, вспыльчив, и на лице его ле-

жала печать таинственности. Таинственности вестника, которого преследуют те, чье послание он несет. Тот, кто раньше заикался и мямлил, внезапно заговорил. Он говорил и говорил, не жалея ни своих слушателей, ни себя самого. Он обнаружил в себе новое призвание — публичного оратора и агитатора.

Моше ходил из одной синагоги в другую, из одного дома в другой, из магазина в магазин, с фабрики на фабрику, заговаривал с прохожими на улице, с крестьянами на рыночной площади. Рассказывал такие жуткие истории, что по спине пробегали мурашки. Про то, как их привезли куда-то в Галицию, про побег, про то, как должен был умереть. А семья? Осталась там. А дети? Тоже остались там, на дне общей могилы. Расстреляли всех. Срежь бела дня. Расстреляли и его, но он упал на долю секунды раньше, и его прикрыли своими телами те, кто упал следом. В живых остался он один. С какой целью? Чтобы вернуться в родной город и рассказать все как было. Вот почему он говорил без умолку. Но его слушатели, усталые и наивные, не хотели, не могли ему поверить. «Бедный сторож, он лишился рассудка», — говорили они. Наконец он все понял и замолчал. Бессильный гнев выдавали лишь его горящие глаза. Его немота граничила с безумием. Но он продолжал хранить молчание до тех пор, пока, два года спустя, за несколько дней до последнего Шавуота, решилась судьба нашего гетто. В тот день он ворвался к нам в дом сообщить отцу о своем решении бежать. Уходил он напевая: «Делать мне больше здесь нечего, нечего. Ухожу, ухожу, ухожу. В Галицию я ухожу. До праздников, до похорон надеюсь туда я попасть...»

А Лейзер? Про него я вам не рассказывал? У него была фамилия, но я ее забыл. Лейзер Толстяк или Лейзер Черный? Или его звали Лейзер Смешливый? Он был толстый и грязный и смеялся с утра до ночи — смеялся непрерывно, а главное, без всякой причины. Над миром, впрочем, смеяться можно и без причины.

Лицо у него было круглое, все в шрамах, зато глаза сверкали. При ходьбе его грузное тело качалось из стороны в сторону, огромные руки болтались взад-вперед. Спал он в хекдеше, городском приюте, и жил подаянием. Он никогда почему-то не заходил в дом, ждал во дворе или у крыльца, пока кто-нибудь не вынесет кусок хлеба, пропитанный подсолнечным маслом, пару вареных картофелин, стакан свежего молока или несколько монеток.

Он любил играть с детьми, когда они возвращались домой из школы. Он дразнил их, и они кидали в него камнями, дрались с ним. Чем больше они над ним издевались, тем ему было приятнее.

А вот антисемиты его не трогали. Он был единственным евреем, не боявшимся в рождественскую ночь выйти на улицу. По наивности или из желания их спровоцировать? Как бы то ни было, не пристали к нему ни разу. Вот почему со временем он стал для меня чем-то вроде реинкарнации Голема, глиняного существа, наделенного силой, но не умом и, по легенде, выдуманного много веков назад для защиты пражских евреев. Как и они, мы были умны, но слабы, и нам тоже нужен был защитник.

Растянувшись у печи в синагоге, Лейзер, казалось, все долгие зимние месяцы ждал зова. С наступлением Пасхи смех у него сделался нервным, резким. Подобно первому — пражскому — Голему, ему приходилось быть бдительным, чтобы отражать нападение врагов, которые на протяжении многих веков, особенно на наши праздники, ненавидели и преследовали нас.

В последний раз, помнится, я видел его в день ликвидации гетто. Он стоял в первой колонне. В тот день он был угрюм и сердит: кто-то помешал ему выполнить его миссию, встретить убийц лицом к лицу и растоптать всех тех, кто нес с собой ненависть и смерть. Дышал он тяжело, как раненый зверь.

Как это я не заметил, что он перестал смеяться? Ведь это было предупреждением.

Еще одна история еще об одном нищем. Последнем. Не беспокойтесь, в этой истории рассказывается о приключениях принца. Да, в нашем городе был принц. У каждого свой. Одного принца низвергают в ад, другого сажают на белого королевского скакуна. Третий улетает на крыльях легенды. Что же до моего принца, то он не носил короны, не сулил ни луны, ни звезд, не требовал ни послушания, ни почестей; он ни в чем не нуждался. Был ли он символом? Если и был, никто не сумел раскрыть его смысл. Владел ли он тайными чудесами и сокровищами? Никто их не видел.

Мой принц не отличался ни великолепием, ни утонченностью. Он был стар и ходил в лохмотьях. И лицо у него было его собственное — это все, что у него было.

Он был беден — самый бедный нищий в городе. Как и все остальные, спал он в синагоге у печки. Каждое утро я замечал, что он сидит на последней скамье — погружен в свои мысли, в глазах безымянная тоска.

Молчаливый и отчужденный, он редко просил милостыню — во всяком случае, вслух. Остановится и молча посмотрит на вас уголком глаз. Независимо от того, обратили вы на него внимание или нет, буркнет что-то в знак благодарности и пойдет своей дорогой. Что-то в его поведении, в его угловатости вызывало скорее расположение, чем симпатию, скорее уважение, чем сострадание.

Мы звали его Шмуклер. Что это было — фамилия или имя? Не знаю. Зато, как и все остальные, я знал, что родом он издалека. У нас он появился во время Первой мировой войны в офицерской форме. Победителем или побежденным? Надзирателем или заключенным? Мнения разделились, он же прояснить ситуацию отказался. Рассеянно слушал наши споры и помалкивал.

Почему он решил поселиться в нашем городке? Почему не поехал домой и где был его дом? Окружавшая его тайна порождала всевозможные теории. Шмуклер — берлинский магнат. Шмуклер — знаменитый венский художник. Его невеста — из Будапешта, она богата и сказочно красива. Больше того, она поет в опере. Она моложе его. Нет, старше его

матери. К тому же наркоманка. Нет, наркоман он, а не она. Был ли он, по крайней мере, евреем? Идиш он не понимал, что в наших краях редкость. Однажды утром я застал Шмуклера в синагоге с филоктериями на лбу и на левом плече — он выглядел совершенно другим человеком. Одни считали его кающимся грешником, другие были убеждены, что он новообращенный, авантюрист, один из Тридцати Шести Праведников, поэт, беглый каторжник — он мог быть кем угодно.

С годами мы перестали к нему приставать. Боялись, что ему надоест наше любопытство и он нас покинет.

Иногда, впрочем, он исчезал на несколько дней и ночей без всякого предупреждения или объяснения причин. Ездил навестить родителей? Невесту? Встречался с деловыми партнерами? Скорее все же прятался в какой-нибудь пещере поблизости или же бесцельно бродил по лесам — свободный человек, который никому ничего не должен. Но не успевали мы начать волноваться, как он вновь появлялся в синагоге.

Однажды я пригласил его разделить с нами пасхальную трапезу. Он рассыпался в благодарностях, но сказал, что уже приглашен в другую семью. К кому?

— С моей стороны было бы невежливо говорить вам, кто меня пригласил, — уклончиво сказал он.

Я вынужден был признать его правоту. Но за все праздники он ни разу в синагоге не появился. Напрасно искал я его в других молельных домах — его не было нигде. И тут меня осенило: а что, если он решил провести седер у себя дома? Может, в слухах, которые о нем ходят, есть доля истины? А если нет, откуда в нем такая таинственность?

На следующий день после Пасхи я обнаружил его сидящим как всегда на задней скамье.

— Вы хорошо провели праздники? — спросил я.

— Да, — ответил он.

— Где?

— Не очень далеко отсюда.

— А я это место знаю?

— Вряд ли. Покамест, во всяком случае, не знаете.

— Можно в следующий раз поехать с вами?

— Конечно, но вам понадобится приглашение.

К этому времени люди стали относиться к нему как к сумасшедшему. И это притом, что никаких признаков безумия у него не было. Он не совершал нелепых выходов, в его поведении не было ничего странного. Он никогда не устраивал сцен, не проявлял склонности к насилию, держался в стороне от беспорядков. Очень редко вставал у кого-то на пути, жил тихо, словно в раковине.

Человеком он, безусловно, был образованным и начитанным. Говорил на нескольких языках, знал толк в литературе и искусстве. Создавалось впечатление, что он вырос в достатке и учился в университете, который сам выбрал. Но он обо всем этом помалкивал. Почему мы решили, что он сумасшедший? Потому что не понимали, чем он в жизни руководствуется? Потому что он оставил блестящую городскую жизнь ради заброшенной, пыльной деревушки вроде нашей? Нет, думал я, он не сумасшедший, его присутствие в нашем местечке связано с какой-то тайной целью, которая объединяла его с нами.

Поначалу я считал его скрытым цадиком — мудрым праведником, видевшим свою миссию в том, чтобы собрать искры мятущихся душ в единый сноп священного пламени, связующего Создателя с Его созданием. Позднее, сам не знаю почему, я поймал себя на том, что отношусь к нему как к царевичу из царства Десяти потерянных колен. В один прекрасный день он вернется в свой замок. И тогда мы узнаем всю правду. Но будет поздно. Больше принц никогда уже не посетит наш городок.

И этот прекрасный день настал. На Песах 1944 года наши синагоги закрылись, школы опустели. Тысячи мучительных вопросов не давали мне покоя, и в том числе: «Где найдет убежище Шмуклер?» Напрасно пытался я получить о нем хоть какие-то сведения. Я расспрашивал других нищих, других сумасшедших. Но в царившем тогда хаосе им

было не до Шмуклера, который исчез бесследно. Да и у меня собственных забот хватало с избытком.

И все же я нашел его и на этот раз. Первая колонна готовилась покинуть гетто. Шмуклера я увидел издали: стоит в стороне, спокойный, невозмутимый, полностью владеет собой. Не помню, был он с чемоданом или с узелком. Помоему, ни с тем, ни с другим — сумка принадлежала ковылявшей рядом старухе. На лице и даже в глазах Шмуклера играла улыбка.

Казалось, он понимает, куда его везут. Его везут домой. Остальные жертвы уже ждали его — там, в таинственном дворце неведомого царя. Он поскачет туда на черном коне, который понесет его все выше и выше, пока, в присутствии царя, он не укажет на поджигателей внизу. Ему не суждено увидеть город моего детства. И это он понимал тоже.

И вот, двадцать лет спустя, я задаю вам вопрос: как отметить его смерть и смерть всех евреев города? Что надо сказать? Сколько свечей зажечь, сколько молитв прочесть и сколько раз? Быть может, кто-то знает ответ. Кто-то, но не я. Я по-прежнему ищу его и по-прежнему не знаю, что нужно делать, чтобы сохранить в памяти образ города, который с каждым днем кажется мне все более и более нереальным.

Вот почему я так часто описываю его, приукрашиваю — порой до неузнаваемости. Мне он всегда казался не уродливым, а необыкновенно прекрасным, таким, каким он представляется молодому еврею, для которого очертания родного города сливаются с образами, рождающимися в его собственном воображении.

Я был слишком молод, чтобы понимать намеки и выпады, сквозившие в разговорах, — я прислушивался только к молитвам. Я был слишком наивен, чтобы постичь голод и несчастья наших нищих, дилеммы, стоявшие перед нашими мечтателями, трагедию наших безумцев. И хотя сейчас я не столь наивен, их я запомнил в том самом, тогдашнем облике: существа из рая, сраженные человеческим проклятьем.

Я до сих пор вижу и буду видеть всегда, как они бредут в направлении вокзала: головы опущены, лица перекошены от жажды и горя. Они идут и идут, ни разу не остановившись передохнуть, ибо мертвые в отдыхе не нуждаются, они, мертвые, неутомимы, и нет той силы, что преградила бы им путь. Бессилен даже сам Ангел Смерти, ибо они сильнее его, сильнее всех. Нам остается только смотреть, как они идут, и рассказать их историю. Историю конца. Историю, не имеющую конца.

Их неустанное движение ведет к встрече — во времени скорей, чем в пространстве. Встрече с кем? Кто-то же должен их ждать. Кто? Это не имеет значения. Важнее не «кто», а «где». В Сигете. Никакой другой город не годится.

Тот город, который они сами выдумали, они уносят теперь все дальше и дальше, наделяя его тысячью имен и тысячью лиц. Смотрите: он идет следом за ними, и я тоже, я держусь от них на почтительном расстоянии, боюсь подойти поближе. Я иду за ними по пятам и бормочу псалмы, потом читаю кадиш — один раз, десять, сто. Сколько же раз, скажите, сколько раз должен я прочесть кадиш на смерть всех евреев города, похороненных в пепле; сколько раз повторять эту молитву в двадцатипятилетнюю годовщину их смерти? Не знаю и никогда не узнаю. Зато я знаю другое: теперь нам придется придумывать новые молитвы — и для тела, и для души. Ибо если кто-то скажет, что душа может достичь ббльших высот, чем тело, пусть лучше помолчит, ибо он сам не знает, что говорит. Он не видел евреев моего города, евреев таких же городов, как мой. Не видел, как их тела становятся легкими, как огонь, легче, чем пепел, как они заполняют собой небо и нашу память. И память Бога.

ДИАЛОГИ I

Ты здесь давно?
Со вчерашнего дня.

Только со вчерашнего?
Нет, я всегда был здесь. Можно сказать, здесь родился.

Родился? Странное слово применительно к этому месту.
Самое точное слово.

И все же ты произносишь слова, не так ли?
Все реже и реже.

Тебе трудно говорить?
Не в этом дело. Слова связывают, а я хочу освободиться.

И тебе это удастся?
Иногда.

Как?
С помощью воображения.

То есть?
Воскрешая образы прожитой жизни.

Когда прожитой? Где?
Дома. В прошлом.

Значит, было прошлое?
Да. Думаю, да. Надеюсь, что было.

И ты к нему возвращаешься?
Думаю, да. Надеюсь.

Зачем?
Чтобы наестся.

Только ради этого?
Да. Чтобы есть, есть без конца. С родителями. На Шабат. С друзьями, гостями, нищими, которые ходят по городу. Есть белый хлеб, рыбу, овощи. Есть медленно, очень медленно. Жевать. Вдыхать аромат пищи. Есть фрукты, сладкое. Много фруктов и сладкого. Есть с утра до ночи.

И ты только о еде и думаешь?
Только ее и вижу.

А о будущем? Неужели ты никогда не думаешь о будущем?
Думаю. О вечернем супе. О завтрашней корке. Разве это не будущее? В мыслях я уже проглотил этот суп. Сожрал эту корку. Никакого другого будущего нет.

Кто ты?
Номер.

Твое имя?
Его нет. Улетучилось. Улетело на небо. Подыми голову. Небо почернело — почернело от имен.

Я не вижу небо. У меня перед глазами колючая проволока. А я вижу. Смотрю на колючую проволоку и знаю, что вижу небо.

Ты хочешь сказать, что у них и там колючая проволока?
Конечно.

И все прочее тоже?
Многое.

Мучители? Палачи? Жертвы, у которых нет ни сил, ни желания сопротивляться, улыбаться теньям?

Говорю же, там всё, как здесь.

Тогда мы погибли.

Только мы?

Сколько тебе лет?

Пятнадцать. Или больше. Может, меньше. Не знаю. А тебе?

Мне пятьдесят.

Завидую тебе. Ты выглядишь моложе.

А вот ты выглядишь старше.

Какая разница, мы оба ошибаемся. Уверен. Мне пятьдесят, а тебе пятнадцать. Ты не против?

Нет, конечно. Какая разница, ты или я. Скажи, ты знаешь, кто ты?

Нет. А ты?

Я не знаю.

Ты, по крайней мере, уверен, что существуешь?

Я — нет. А ты?

И я тоже.

Скажи, что случилось с нашими лицами?

Они — маски. Маски вместо лиц.

Ты спишь?

Нет, это не сон. Это что-то другое.

Ты видишь сны? Спишь с открытыми глазами? У тебя разыгралась фантазия? Хочешь почувствовать себя человеком, состоявшимся человеком?

Я слишком для этого слаб.

Что ж ты тогда делаешь? У тебя широко раскрыты глаза.
Я играю.

Что-что?!
Играю в шахматы.

С кем?
Не знаю.

И кто выигрывает?
Этого я тоже не знаю. Знаю только, кто проигрывает.

Эй, ты! Ты что, молишься?
Это не так.

У тебя двигаются губы.
Вероятно, по привычке.

Раньше ты тоже так много молился?
Да, и даже больше.

И о чем же ты просил Бога?
Ни о чем.

Просил, чтобы Он тебя простил?
Может быть.

Чтобы надоумил?
Возможно.

Чтобы ниспослал тебе друга?
Да, друга.

Чтобы дал сил победить зло и отстоять добро? Чтобы все-
лил уверенность, что живешь по правде... что просто жи-
вешь?
Может стать.

А говоришь, ни о чем не просил.
Именно так. Ни о чем.

Ты был богат?
Очень богат. Как король.

Чем занимался твой отец?
Торговлей. Трудился в поте лица.

А я думал, богатые люди не работают.
Мой отец работал. С рассвета до поздней ночи. Мать ему помогала. Мы все помогали, даже дети. У нас не было выбора.

Значит, он не был богат.
Нет, был. Не было ни одного нищего, которого бы в нашем доме сытно не накормили. Нищему подавали первому. В праздники наш дом был забит бедняками, нашими почетными гостями.

Где ты жил?
Во дворце. В огромном, просторном дворце. Красивом. Роскошном. Невиданном.

Сколько там было комнат?
Три. Нет, четыре. Жили в тесноте, но это значения не имело. Водопровода не было. И все же это был дворец.

Ты когда-нибудь туда вернешься?
Никогда. Его больше нет.

Что ты будешь делать, когда все это кончится?
Построю дом и набыю его едой. А потом приглашу бедняков со всей земли разделить со мной трапезу. Но...

Что?
... но никто не придет, потому что это не кончится никогда.

Ты знаешь, что похож на одержимого? У тебя ведь одна мысль, одно желание — наесться досыта.
Я голоден.

Нехорошо все время думать о еде.
Нехорошо все время голодать.

Ты хочешь сказать, что все остальное не имеет значения?
Остального нет.

А как же идеи? Идеалы? Великие мечты человека подчинить своей воле Вселенную? Радость старика, раскрывшего наконец тайну ожидания?
Все это не стоит и одной хлебной крошки.

А Бог?
Не будем говорить о Боге. Здесь, во всяком случае.

Может, ты больше в Него не веришь?
Этого я не говорил.

Стало быть, вера не покинула тебя?
Этого я тоже не говорил. Я сказал, что отказываюсь говорить о Боге здесь, в этом месте. Сказать «да» значило бы солгать. Сказать «нет» — тоже солгать. Если понадобится, я встречу Его сердитым окриком, непристойным жестом, невнятным бормотаньем. Но устроить вокруг Него, да еще здесь, теологический диспут — нет, уволь! Здесь Бог — это лишняя тарелка супа, которую у тебя отобрали или украли только потому, что человек впереди сильней или проворней тебя. Здесь Бога можно обрести не в смиренных или высокопарных фразах, а в корке хлеба...

Которую ты только что съел или собираешься съесть?
...которая никогда мне не достанется.

Будешь меня помнить?
Обещаю.

Но как? Ты ведь не знаешь, кто я, да я и сам этого не знаю.
Это не имеет значения — свое обещание я запомню.

Надолго?

Возможно, даже на всю жизнь. Но... почему ты смеешься?

Чтобы ты запомнил мой смех, выражение моих глаз.

Неправда, ты смеешься, потому что сходишь с ума.

Превосходно. Запомни мое безумие.

Скажи... ты смеешься надо мной?

И над тобой тоже.

ЧТЕНИЯ

Треблинка, Биркенау, Бельзен, Бухенвальд, Освенцим, Маутхаузен, Бельзец, Понар, Собибор, Майданек — сумрачные столицы странного государства, огромного и непреходящего, где Смерть, подобно верховному повелителю, заняла место Бога на небесах, на земле и даже в сердцах людей.

Время: 1941 — 1945-й. Холокост, суть которого в поистине мистическом размахе «концентрационного» феномена, — в самом разгаре. Нацистская Германия сгибается под бременем творимого ею зла, однако войну евреям не выиграть все равно. Многие не увидят победы.

Их списали, бросили на произвол судьбы, и нет той силы, что выступила бы в их защиту. Судьба евреев союзников не интересует. Да и совесть наций не пробуждается тоже. Одни писатели, художники, моралисты поглощены своей работой, своим бессмертием, другие — противостоянием как таковым. Все происходит так, будто евреев не существует, больше не существует. Будто Освенцим — это всего лишь мирный силезский городок. Президент Рузвельт отказывается бомбить ведущие в Освенцим железнодорожные пути. Уинстон Черчилль — тоже. Москва осуждает зверства немцев против мирного населения, однако уничтожение евреев обходит молчанием. Евреи словно бы заранее принесены в жертву. Принято говорить: «История рассудит». Верно — но рассудит, не понимая. А вот Адольф Гитлер — тот понимает. Больше того, он убежден: даже его противники будут ему благодарны, ведь он решил за них извечный еврейский вопрос. Настанет день, когда справедливость восторжествует и его объявят благодетелем человечества; он в этом нисколько не сомневается.

Отлаженная, мощная машина уже работает в полную силу. Теоретики, чиновники, охранники, секретари, машинистки и всевозможные технические сотрудники трудятся засучив рукава — с небывалой энергией и энтузиазмом. Для них это — огромный риск, высокие идеалы, уникальная возможность проявить себя; ведь они осуществляют величайшее преобразование всех времен, они перестраивают мир. Благодаря им этот избранный, но слабый народец уйдет в небытие. Процесс везде один и тот же. Все дороги ведут в ночь.

Осужденные отвергнуты человечеством, однако сами они человечество не отвергают. Их вера в историю, как это ни удивительно, остается незыблемой. Они не отчаиваются. Доказательство? Они настойчиво, несмотря ни на что, хотят выжить — и не только ради жизни, но и ради того, чтобы дать свидетельские показания.

Жертвы хотят быть свидетелями.

На пути к массовой могиле историк Симон Дубнов призывает рижских евреев, своих товарищей по несчастью: «Напрягите зрение и слух! Запомните каждую подробность, каждое имя, каждый вздох! Цвет облаков, шепот ветра в деревьях, каждое движение палача. Тот, кто останется в живых, должен запомнить все!»

В Биркенау член зондеркоманды, ответственный за поддержание огня в печах, переписывает при свете пламени документы и цифры точных статистических данных — для будущих поколений.

Повсюду, в годину страданий и смерти, юноши и дряхлые старики делают записи, фиксируют на бумаге события, истории, впечатления. Некоторые — Давид Рубинштейн, Анна Франк — еще дети.

У Эммануила Рингельблюма и сотни его переписчиков, скрывающихся за стенами Варшавского гетто, только одна мысль: собрать и припрятать как можно больше документов — столько страданий, столько испытаний, ничто не должно погибнуть для Истории. Коль скоро европейские

евреи обречены, необходимо, по крайней мере, сохранить их обожженные, уходящие в никуда следы.

Стихотворения, проповеди, пьесы. Чтобы создать их, евреи обходились без сна, обменивали пищу на карандаш и бумагу. Играли с судьбой. Рисковали жизнью. Невзирая ни на что, продолжали складывать буквы и знаки. За мгновение до того, как погибнуть в Освенциме, в Белостоке, в Буне, умирающие описывали свои мучения. В Бухенвальде я присутствовал на нескольких «литературных вечерах», слушал, как безвестные поэты читают стихи, которые я по молодости лет не понимал. Стихи эти писались не для меня, не для нас, а для других, находившихся на свободе, еще не родившихся.

Нами владела неизбывная страсть засвидетельствовать пережитое для будущего, вопреки смерти и забвению. Страсть, переданная всеми возможными выразительными средствами.

Скупые документы. Гроссбухи ужасов с дотошными записями. Истории, рассказанные с детской непосредственностью. Объединяет их желание вырвать из объятий ночи жизнь и смерть народа, который еще совсем недавно процветал, был полон жизненных сил, а теперь превратился в загнанного зверя. Измученные, объятые ужасом, авторы то истошно кричат, то погружаются в глухое, преисполненное ненависти молчание. Установленные факты, известные эпизоды, исследуемые вновь и вновь и вместе с тем совершенно необъяснимые; эпизоды комические и от этого еще более душераздирающие. Кажется, будто та или иная сторона Холокоста тебе доподлинно известна, но нет, все еще только предстоит узнать. Когда читаешь книги авторов, которые не знают друг друга, поневоле думаешь: в них ведь описываются одни и те же сцены, одни и те же события. Они все одинаково начинаются и одинаково кончаются. Все уже сказано — и все еще предстоит сказать.

И в документальной прозе, и в беллетристике место действия — лагерь или гетто, где население, пожираемое временем и смертью, тает с каждым днем.

Гетто с его похожими на привидения обитателями, его могильщиками, пустыми, остекленевшими или безумными глазами его детей. К этому кошмару привыкаешь, причем очень быстро; за одну ночь, один час приобретаешь знания и мудрость. Ребенок обнаруживает в себе старика. За одну ночь распадаются привычные связи и понятия. Им на смену приходят новые. Приходят и в скором времени усваиваются. В гетто любят, призывают к чистоте и несокрушимости истинного чувства, празднуют свадьбы, отмечают религиозные праздники. Поют, прячутся, занимаются самообманом, смеются над собой. Одни выпрашивают картофелину, другие — утешение. Себя видят в том же свете, что и другие, что и везде. А что, если завтра умрешь от голода, от болезни, от усталости или просто от надежды — да, от надежды?

Измученный, обезумевший от боли восьмилетний малыш кричит: «Хочу воровать, хочу есть, хочу быть немцем. Чтобы можно было есть, есть без стыда, и спать, спать без страха». Он умирает — голодный. Другие дети рано взрослеют, умирают от холода, от того, что их родителей унижают и бьют. Некоторые становятся мишенью для солдат — должны же доблестные воины практиковаться в стрельбе.

А ведь есть еще лагерь. И страх, который они вызывают у жителей гетто. Детей берут первыми. Потом — стариков, безработных, больных, покорных, всех тех, у кого нет рабочей карточки, желтой, красной или зеленой, с печатью военной комендатуры, полиции или немецкого работодателя. А впрочем, какой из трех цветов спасителен, неизвестно никогда.

Но пропускам и карточкам никто уже не верит. Все чаще и чаще молодые люди вооружаются и уходят в лес к партизанам. Все чаще и чаще они строят подземные укрытия, укрепленные бункеры, возводят линию обороны. Все чаще и чаще подымают восстания, чтобы преподать человечеству

и истории урок, который они едва ли заслуживают. Варшавское восстание забыто не будет. Будут и другие, менее памятные. А ведь у каждого восстания, у каждого мятежа был свой поэт, у каждой резни — свой историк. Сколько еще документов лежат на дне оврагов и котлованов? Когда-нибудь обнаружат и их. Сейчас же важна любая информация из любого гетто. И гнев, которым проникнуты все эти истории, один и тот же. Настанет ли день, когда гнев этот будет укрощен?

Некоторые свидетели отвечают на этот вопрос отрицательно. Гнев им дорог, они не хотят с ним расставаться. Охваченные яростью, они не щадят никого — ни живых, ни мертвых. Чтобы нагляднее продемонстрировать зло, царившее на всех уровнях «концентрационного» царства, они бросают вызов даже жертвам, упрекая их в рабской покорности. То, что у этого зла был абсолютный коэффициент, сомнений не вызывает. Узник Освенцима мог вызвать законное негодование — ведь корка хлеба стоила для него больше, чем все божественные посулы, миска супа превращала чуткое человеческое существо в дикого зверя. Принципы, устои и чувства оказывали неумолимым законам Майданека очень слабое сопротивление.

Убийца, чтобы развлечься, разыгрывает сцену казни: избивает еврея до полусмерти, а потом стреляет в воздух. Еврей приходит в себя и видит, как ухмыляется склонившийся над ним палач: «Думал, если умрешь, тебе удастся от нас сбежать? Не надейся! Даже в потустороннем мире хозяева — мы!»

В этой вымышленной истории есть доля истины. В стремлении подавить моральный дух своих жертв, прежде чем их уничтожить, палачи брали на себя роль Бога. Только они одни имели право устанавливать границы добра и зла. Их склад ума, их прихоти были законом. Они ставили себя выше морали, выше истины.

Многие узники концлагерей, обитатели гетто выбирали легкий путь — путь отречения. Вправе мы их судить? Я — нет. Не могу осуждать людей, которые не сумели противо-

стоять испытаниям и искушениям. Полицейские в гетто, капо, виновны они или нет, всегда могут сослаться на смягчающие обстоятельства. Они вызывают скорее жалость, чем презрение. Слабых, трусливых, всех тех, кто продал душу, чтобы прожить лишний день, еще одну беспокойную ночь, я бы причислил к жертвам. В прощении они нуждаются больше, чем остальные. Больше, чем их товарищи, и иначе, чем их товарищи, заслуживают они сострадания и милосердия. Их вина ложится на их мучителей.

А между тем мне приходится читать книги, которые являются свидетельствами обвинения. Их авторы неумолимы, лишены сострадания. И не важно, если их слова причиняют боль, вызывают ужас — они будут услышаны. По необходимости фрагментарные, их воспоминания не отражают всего, что было, являются лишь частью целого. В сущности, можно вывести некое общее правило: каждый свидетель раскрывает лишь свою собственную истину, говорит в защиту одного себя. Для того чтобы передать истину Холокоста во всей ее полноте, недостаточно было выслушать оставшихся в живых, нужно найти способ присовокупить к их рассказу молчание миллионов убитых. Молчание это невозможно передать человеческим языком. Невозможно представить себе Холокост иначе чем тайну, порожденную мертвецами.

Сегодня мы задаем себе вопрос, который будем задавать еще очень долго: как могли совершаться подобные преступления, происходить подобные ужасы? Этого мы не узнаем никогда. Или почему один народ избрал убийство, а другой — мученичество? И этого не узнаем тоже. Все вопросы, относящиеся к Освенциму, равно мучительны. Имеет значение смерть одного миллиона детей или нет, человек в любом случае проклят и осужден. Освенцим не поддается языку прозаика, анализу историка, видению пророка. Оставшиеся в живых и свидетели сделали все возможное, чтобы описать свой опыт, и тем не менее их сочинения не имеют прямой связи с тем, что они видели и пережили. За перо

они взялись потому, что не могли поступить иначе: хотелось приподнять могильный камень, выбраться из мрака ночи. Выговорившись, они заставили нас увидеть, что тайна осталась нераскрытой. Что означает — если это вообще что-то означает — поражение. Покуда эта тайна остается тайной, любые слова пусты. В тени этой тайны мы вполне можем оказаться обманщиками. Наступит ли день, когда мы узнаем, что собой представляет истинный Освенцим? Быть может, Освенцим существовал лишь для тех, кто оставил там, под пеплом, часть своего будущего нам в залог.

В Талмуде говорится, что, когда Иерусалимский Храм загорелся, священники прервали молитву и обратились к Богу: «Мы не сумели сохранить Твое святилище, а потому отдаем Тебе ключи от него». И бросили ключи в небо.

Иногда я думаю, что святилище до сих пор объято пламенем и что оставшиеся в живых — его хранители. Но ключи они держат при себе.

ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ФОТОГРАФИИ

Еврей, стоя на коленях, копает себе могилу. Едва ли он в полной мере сознает, что с ним происходит. В темноте его почерневшее лицо едва видно, очертания расплываются. Рядом его родители, братья — лица застывшие, перекошенные, похожи на глиняные маски. Сзади за копающим могилу спокойно наблюдают убийцы в форме: руки сложены на груди, ноги широко расставлены. Спокойные, веселые, они обмениваются впечатлениями. Смеются.

Старуха с желтой звездой на груди бросает последний, затравленный взгляд на здание вокзала, прежде чем навсегда исчезнуть в чреве поезда, до отказа набитого сотнями безвестных человеческих тел. Мы еще можем видеть ее — она стоит облокотившись на ступеньки, но мы на нее больше не смотрим: нам видна лишь ее тень. Нет, и тени не видно.

А этот безликий труп? Какую страну, какой пейзаж выбрал он фоном для своего ухода? Он отвернулся нарочно? Натянул на голову потрепанную фуфайку, потому что ему стыдно за человеческую особь? Дошел до конца и больше ничего видеть не хочет. Он уже все видел, все взвесил. Умер слепым. Вот он: неподвижно лежит на груде камней, сжатая в кулак рука угрожающе поднята, словно он отгоняет приближающегося врага. Внимательно посмотрите на его ноги: правый башмак отсутствует. А левая нога? Одна кость, ни лоскутка кожи.

Эти снимки, сделанные немецкими офицерами и солдатами, собирателями экзотических сувениров, перепечатываются в посвященных Холокосту альбомах. Вглядитесь в них, и вы за-

будете, кто вы такой. Вам не захочется больше ничего знать. Все остальное потеряет всякий смысл. Вы заглянули в бездну, куда лучше бы вам не заглядывать. Но уже поздно.

Листая эти альбомы с любительскими фотографиями, вы ощущаете, будто, потеряв дар речи и испытывая мучительное головокружение, вы погружаетесь в бездонную ледяную ночь. Все остальные люди остаются где-то сзади, связь ваша с ними становится все более и более зыбкой. Но вот наступает следующий день, и вы вновь листаете те же страницы.

В глубине души я знаю: каждый устремленный на меня с фотографии взгляд срубает с дерева еще одну ветвь, добавляет на солнце еще одно пятно. Я знаю, с каждой новой фотографией надежд становится все меньше. И все же пальцы мои переворачивают страницы, и друг друга сменяют съжившиеся тела, разинутые в беззвучном крике рты. И тогда щемящая сердце, удушающая мука становится все горше и горше, она подавляет меня; когда перед глазами столько трупов, боишься наступить на свой собственный.

Каждый раз, когда передо мной открывается новая страница, возникает новое изображение, у меня перехватывает дыхание. И я говорю себе: «Это конец, они достигли последнего предела, все остальное будет не так ужасно — невозможно же придумать страдание более обнаженное, жестокость более изощренную». Но мгновением позже я признаю свою ошибку. Я недооценил изобретательность убийц. Пределы бесчеловечного человеческого разуму неподвластны. Зло в большей степени, чем добро, устремлено в бесконечность.

Чем объясняется мазохистский порыв, побуждающий вас держать перед глазами книгу о прошлом, которое завернуто в саван, но еще не опущено в могилу? Прежде всего жаждой знания, желанием понять. Истории о зверствах читают прежде всего оставшиеся в живых. Чтобы постичь, пусть и с опозданием, истину, которая прежде им не давалась. Чтобы узнать все, что только можно узнать, о событиях, которые их изувечили. Ведь они, в сущности, по-прежнему не понимают, что произошло. И как — и почему — им удалось спас-

тись. Изучая документы и таблицы, исследования и воспоминания, они надеются взглянуть на себя со стороны — на себя и на свое прошлое. Фотографии воскрешают прошлое лучше, чем слова, любые слова, — они безжалостны, значимы, точны. Потрясенный тем сгустком памяти, которая в них сконцентрирована, оставшийся в живых изучает их, дабы вновь обрести свой собственный образ, который он счел навеки исчезнувшим. Например, как он — скорее глазами, чем ртом — читает кадиш. Рот, безусловно, можно обвинить во многом: он молчал, когда должен был говорить, и говорил, когда сказать уже было нечего. Глаза более правдивы, они хорошие свидетели, они не забыли ничего.

Если посмотреть на узника в профиль, то выражение его лица может показаться на удивление невозмутимым. Если б не пояс, одним концом обхватывающий его шею, а другим привязанный к трубе на потолке, можно подумать, что он сидит. Более подходящего, более символического места для самоубийства, чем отхожее, он выбрать не мог. Сведя счеты с жизнью в галюне, повешенный возвысил его до зала суда, где самоубийство предстало чтением смертного приговора.

А вот еще один снимок. Под хмурым, серым небом в самом центре пшеничного поля пятеро скошены пулями, точно пшеничные колосья — косой. Переворачиваем страницу. Неопределенного возраста мать с застывшим от ужаса лицом прижимает к себе ребенка, чтобы спасти его от неотвратимой пули. У нее за спиной спускает курок солдат с пустым взглядом. И они, мать и ее ребенок, падают. Падают, падают — и нет конца их падению.

Не останавливайтесь. Еще не всё. На следующей странице вы видите детей с раздутыми, как у стариков, головками и стариков с худенькими, как у детей, ручками и ножками. А на этой фотографии с деревьев свисают беременные женщины; они неподвижны, как неподвижны воздух и листья на ветках — не разверзлись небеса и на этот раз.

А глаза все еще хотят смотреть, пальцы — листать страницы. Один сюжет следует за другим, походит одни на дру-

гой — и вдруг сходство этих сюжетов обжигает вас, точно удар хлыстом: вы видите одного и того же еврея, убитого одним и тем же убийцей шесть миллионов раз!

Потрясенные, замороженные, глаза ваши продолжают смотреть. Вы разбили зеркало и проникли в зазеркалье. Продолжайте, переворачивайте страницы, испейте до дна тот мрак, который вам открывается, ответьте на застывшие, бесконечно умирающие улыбки, коснитесь бессчетных, тянущихся к вам рук, удержите в памяти тот блуждающий взор, что отличает мертвецов. И тогда кто скажет хоть слово, если в порыве ярости и угрызений совести вы плюнете на этот мир? На мир, который когда-то был их миром и все еще остается вашим?

Итак, листайте страницы, их, снимков этих, еще много, очень много. Фотографии кружатся, сливаются, отсылают вас назад, в бесконечность. Смотрите, не останавливайтесь. Вы еще всего не видели — вы ничего не видели. Стойте: после этого гетто вы побываете еще в одном, в большем, в меньшем, ближе к преисподней. Потом вы увидите леса, где проходили массовые казни. Могилы, столбы. Отцы и сыновья, которые переговаривались или молчали, прежде чем свалиться в ров. Прибытие и отбытие. Железнодорожные вокзалы, селекция. Музыканты, костры. Голод, страх, чума, унижение, конец. Названия проплывают мимо — не обращайтесь на них внимания. Венгерские города, польские гетто, литовские кладбища — везде одно и то же. Повсюду страх, и голод, и позор, и конец. Не останавливайтесь.

Кто этот старик и как посмел он бросить вызов своим мучителям? Они отрезают ему бороду, стараются унижить его как можно больше. Участвовать хотят все. А он не жалуется. Судьбу свою не оплакивает. Молчаливый и гордый, с высоко поднятой головой, он смотрит им прямо в глаза. Вы потрясены его чувством собственного достоинства? Смотрите, да ведь он их провоцирует! Безумец, они убьют его! Неужели он не понимает? Впечатление такое, будто не они издеваются над ним, а он над ними. Приглядываюсь. Черты его лица кажутся мне знакомыми. Горб. Мучительно всматриваюсь в его черты. Нет, память меня не подвела. Это мой дед.

Еще один образ навеки отпечатался в моем сознании. Маленький еврейский мальчик стоит с поднятыми над головой руками, точно солдат, что сдался врагу после жестокой схватки. Его охватил страх. Кепка ему велика, ни лба, ни ушей не видно — только две черных щелочки вместо глаз. Он видит окруживших его солдат? Или снайперы лежат в засаде и целятся? Сколько их? Десять? Сто? Сто тысяч? Они вооружены револьверами, винтовками, автоматами. Все немецкие воины, со всех фронтов, далеких и близких, сошлись здесь с одной-единственной целью — стереть с лица земли этого еврейского малыша со всезнающими глазами, который выбился из сил и у которого нет ни воли, ни желания оказать им сопротивление.

Гетто. Из окна под огнем огнеметов выпрыгивает охваченный пламенем боец сопротивления. На улице собрались немцы и поляки, в форме и в штатском. Взирают на этот спектакль с неподдельным интересом.

А эта фотография из Треблинки — а может, из Биркенау, Понара, Майданека? — когда-нибудь взорвется во мне, повергнет в безумие. Еврейские матери, голые, ведут своих детей, тоже голых, на смерть. Вы смотрите на них так пристально, что в конце концов вам начинает казаться, будто они идут по огромному цветущему полю к красному от крови алтарю, а потом вы видите их, этих обреченных на молчание, перепуганных ангелов, подвешенными между небом и землей. Взгляните на этих женщин: некоторые еще молоды и красивы, их дети напуганны, но вида не подают — умеют себя вести. У других же, тех, что уже в возрасте и без иллюзий, вид измученный, чудовищно измученный. Вот они — стесняются, стыдятся своего обнаженного тела. Прячут глаза и дети. А ты, что делаешь ты? Ну же, сорви цветок, предложи его матерям в обмен на детей — чего ждешь?! Скорей, хватай ребенка и беги, беги со всех ног, быстрей ветра, беги, пока еще есть время, пока дым не выел глаза...

...Но ты вслед за мной безмолвно застыл перед этими страданиями, которые такие же люди, как ты и я, с удовольствием снимали на пленку, чтобы потом, по возвращении

домой, показывать фотографии разомлевшим гостям и восхищенным кузинам.

Пальцы листают страницу за страницей, и твои глаза вновь встречаются с глазами тех, кто сжигает людей. На далеком берегу реки солнце, согрев землю, медленно погружается в отороченные золотом багровые сумерки. А что, если Холокост — это не более чем кошмар, наваждение?

Мир остался миром. Люди несколько не изменились и ничему не научились — а может, и учиться-то было нечему. Любовь, суета, зависть — жизнь продолжается. Отпуска, автомобили, демонстрации — от моды отставать не хочется. Вечерашние мифы уступают место сегодняшним «запрограммированным» героям и идолам. Художников сменяют ученые. На всех континентах народы, большие и малые, готовятся убивать друг друга. Магнаты заключают сделки, политики произносят речи. Спекулянтов беспокоит их репутация, художников — их искусство. Я тоже люблю пойти на хороший концерт или ответить хорошенькой девушке улыбкой на улыбку. Я благословляю хлеб и освящаю вино, и нет человека счастливее меня, когда под моим пером слова встают на свои места, создавая иллюзию того, что они куда-то ведут.

Я-то знаю, куда они ведут. Туда, где нет слов. В таинственные леса, где отцы и дети, евреи, уже размеченные палачом, одним и тем же палачом, рассказывают друг другу историю, одну и ту же историю. Туда, где женщины с темными расширенными зрачками, оскверненные и напоенные болью, ведут своих детей на жертвенный алтарь — и дальше.

И тогда из самых глубин моего естества подымается непреодолимое желание забыться. Бросить перо, сжечь все мосты, пуститься наутек и с проклятьями оставить настоящее далеко позади. Отыскать тот миг, что породил все эти образы, и никогда больше не слышать смех и стон ветра, плачущего в сумерках. В одних и тех же сумерках.

ДИАЛОГИ II

Ты сердишься на меня?

Иногда. Немного.

Потому что я не страдал, как ты?

Потому что ты был здесь и ничего не делал.

А что мы могли сделать?

Кричать. Вопить. Нарушить заговор молчания.

Мы не знали.

Неправда. Все всё знали. Этого никто уже больше не отрицает.

Хорошо, знали. Знали, но не верили.

Несмотря на все доказательства, таблицы, секретные донесения?

Из-за них. Неужели ты не понимаешь? Они были так ужасны, что им невозможно было верить.

А следовало бы.

А ты, ты бы им поверил? Скажу больше. Неужели ты сам, испытав эти ужасы на себе, веришь сегодня, что все это произошло на самом деле?

Нет. Но...

Договаривай.

... у меня все иначе. Иногда я задаюсь вопросом, имею ли я еще право говорить «я».

Вот он! Это он! Скорей, хватай его!
О чем ты?

Это он, говорю же тебе! Он опасен, его следует изолировать!
Что ты от него хочешь? Что он сделал?

Ничего, но...

Ничего? Зачем же ты хочешь посадить его в тюрьму, наказать?

Запри его. Он способен на все — он слишком много знает о человеке и человечестве. Его необходимо изолировать; нас всех необходимо изолировать. Если он начнет говорить, мы погибли. Мы должны сделать все возможное, чтобы он молчал!

Но ведь он ничего еще не сказал.

Тем больше оснований посадить его под замок поскорей, пока еще есть время! В одну камеру с безумцами без памяти, без будущего! До тех пор пока он на свободе, я себя в безопасности не чувствую.

Ты когда-нибудь говорил с ним?

Никогда. Зато он говорил со мной.
И что он тебе сказал?

Просил прощения.
Только и всего?

По-твоему, этого мало? Он шутил, я понимаю. Это я должен был просить у него прощения. Но я не могу себя пере-силить: боюсь его голоса, глаз. Когда его вижу, меня пробирает озноб. Я становлюсь его тайной, той самой, которую он хочет унести с собой в могилу. Он пугает меня — в его присутствии я не смею двигаться, дышать. И даже смотреть. Я бьюсь головой в стену, и стена — это он, это ты... А я, где

я? Кто я? Только он один знает и таким образом мстит. Говорю тебе, он опасен. Помоги!

Ты неважно выглядишь, поверь мне.
Ничего, все будет в порядке.

Грустишь?
Может быть. Ничего страшного.

Ты бы себя видел.
Я тебе верю.

Так нельзя.
А как можно?

Откуда я знаю? Оглянись вокруг. Деревья в цвету. Витрины. Хорошенькие девушки. Какого черта? Дай себе волю. Обещаю тебе, что после...
«После»? Ты сказал «после»? Что ты имеешь в виду?

Скажи что-нибудь.
Что именно?

Что я тебе нравлюсь.
Ты мне нравишься.

Что тебе меня не хватало.
Мне тебя не хватало.

Что ты меня любишь.
Я тебя люблю.

Что ты хочешь со мной жить.
Я хочу с тобой жить.

Это тебя пугает?
Да.

А мне страшно, только когда тебя нет.
И мне тоже.

Так останься со мной.
Постараюсь.

И будешь со мной разговаривать?
Постараюсь.

Ты не доверяешь словам.
Я утратил со словами всякую связь.

Но я боюсь, когда ты молчишь.
Я сам боюсь.

Стоит тебе перестать говорить, как ты перестанешь видеть.
Вот тогда-то я и начну видеть по-настоящему.

Ты меня помнишь?
Нет.

Мы ведь были соседями.
Возможно.

Друзьями.
Когда?

Раньше.
Да, помню.

Мы ходили в одну школу, видели одни сны, любили одних учителей.
Да, помню, помню. Мы собирались стать раввинами.

Чем ты сейчас занимаешься? Я — скульптор. А ты?
Пишу.

Ты говоришь так, словно...

Ничего удивительного. Миллионы людей приняли смерть, чтобы ты мог стать скульптором, а я — писателем.

Хотел задать тебе один вопрос... Не отвечай, если не хочешь.

Валяй.

Как тебе удавалось спать?

Где? Там?

Да, там.

Очень, просто, дорогая: я считал покойников. Их было много. И все они в темноте выглядели одинаково — я в том числе. Я сбивался со счета, и приходилось начинать все сначала — вечно кого-нибудь недосчитаешься. Если б не сон, так бы и считал трупы до самого утра. А почему ты спрашиваешь?

Просто из любопытства.

Вон что. А я решил, что у тебя бессонница.

Тебе грустно? Или ты болен?

Ни то, ни другое.

Ты себя нормально чувствуешь? Еды хватает? Тебя ничего не беспокоит?

Я ни на что не жалею.

Тебя не раздражает счастье других людей? Наивность детей? Я люблю счастливых, и я люблю детей.

Тогда зачем рассказываешь им грустные истории?

В моих историях нет ничего грустного. Можешь спросить у детей.

Но от твоих историй люди плачут.

Нет, никто от них не плачет.

Только не говори мне, что они вызывают смех!
Верно, смех они не вызывают. Одно могу сказать: от моих историй человек задумывается.

Давай поиграем, хорошо?
Хорошо.

Я — вестник.
Привет тебе, вестник.

Я могуч и благороден.
Браво, вестник.

Я желаю тебе добра.
Слава вестнику!

Какое у тебя самое сильное и самое заветное желание? Скажи мне — и оно сбудется.
Ты хороший вестник.

Итак? В чем состоит твое желание?
Мое желание? Вот оно: сделай так, чтобы я встретил человека, похожего на тебя.

Ты здесь?
Я здесь, сын.

Здесь так темно. Я весь дрожу. Меня пробирает озноб. Мне страшно.
Я здесь.

Мы здесь с тобой одни?
Видимо, да.

Обещай, что не откажешь мне в просьбе.
Конечно, не откажу.

Спой мне.

В такое время?

Отказываешься?

Но мы перебудим весь дом, всю улицу...

Не важно. Я хочу, чтобы ты спел. Мне. И себе тоже. Ты ж обещал. Когда ты поешь, мы не одни. Будет все равно темно, и мне все равно будет страшно, но это не важно, пойми, мне будет страшно не темноты, а твоей песни, ее слов, меня самого... ты здесь?

Да, сын. Мы все здесь.

ЧАСЫ

Помню, на бар-мицву мне подарили великолепные золотые часы. Дарились часы на совершеннолетие и другим мальчикам, чтобы они помнили: впредь каждому из них придется отвечать за свои действия перед Торой и ее неподвластными времени законами.

Но подарок мне сохранить не удалось. Расстаться с ним пришлось в тот самый день, когда мой родной город, освободившись от всех живших в нем евреев, всех до последнего человека, стал гордостью венгерского народа. Славные представители нашего муниципалитета ликовали: на улицах города лапсердаков больше не будет. «Отныне, — ясно и недвусмысленно заявила местная газета, — мы сможем говорить о своем местожительстве, не испытывая чувства стыда».

Шел конец апреля 1944 года.

В тот день, с самого утра, после бессонной ночи гетто превратилось в кладбище, а его жители в могильщиков. Мы лихорадочно копали во дворе, в саду, в погребе, временно (как мы надеялись) предавая земле то, что еще оставалось от имущества, накопленного несколькими поколениями. Предавая земле печаль и награду долгих лет тяжелого труда.

Отец взял на себя драгоценности и ценные бумаги. Низко опустив голову, он молча копал возле амбара. Неподалеку, скорчившись в три погибели, мать хоронила во влажной земле серебряные подсвечники, которыми пользовалась раз в неделю, при наступлении Субботы она едва слышно постанывала, и я старался не встречаться с нею глазами. Сестры рылись в земле за амбаром. Младшая, Ципора, как и я, выбрала сад. Она с важным видом орудовала совком, отка-

завшись от моей помощи. Что она прятала? Игрушки? Школьные тетради? У меня же, кроме часов, не было ничего. Часы значили для меня так много, что я решил похоронить их в глубокой яме, в трех шагах от забора, под раскидистым тополем — густая листва казалась мне тогда вполне надежным укрытием.

Мы все надеялись со временем вернуть наши сокровища. Когда мы возвратимся, земля нам их отдаст. А пока бушует буря, они будут в безопасности.

Да, мы были наивны. Мы и предположить не могли, что в тот самый вечер, еще до отхода последнего поезда, по брошенным домам и дворам гетто пронесется возбужденная толпа хорошо осведомленных, доброжелательных соседей, которые, сметая все на своем пути, жадно набросятся на добычу.

И вот, двадцать лет спустя, я стою глубокой ночью в нашем саду и вспоминаю первый — и последний — родительский подарок. Меня охватывает какое-то иррациональное, непреодолимое желание увидеть его, узнать, тут ли он еще, на своем месте; убедиться, что, вопреки всем законам вероятности, он, как и я, остался цел. Мое любопытство становится навязчивой идеей. Ни отцовские деньги, ни материнские подсвечники меня совершенно не волнуют. В этом городе значение имеют только мои золотые часы и то, как они тикают.

Несмотря на кромешную тьму, я без труда иду по саду. Мне снова тринадцать, у меня снова бар-мицва; вот амбар, забор, дерево. Ничего не изменилось. Слева тропинка ведет к дому ребе из Слотвино. Ребе, правда, теперь другой; неопалимая купина сгорела дотла, и от нее ничего не осталось, даже дыма. Интересно, а что спрятал ребе в тот день, когда нас увозили? Свои филактерии? Талес? Священные свитки, доставшиеся ему в наследство от его знаменитого предка, раввина Меирла из Премишлана? Нет, такие сокровища ребе вряд ли бы закопал. Он всё взял с собой, решив, что таким образом защищает не только себя, но и своих учеников. И ошибся, этот чудо-ребе.

Но не о нем сейчас надо думать. О часах, думать надо о часах. А вдруг они целы? Посмотрим. Три шага направо. Стоп. Два вперед. Место мне знакомо. Я инстинктивно готовлюсь вновь воспроизвести сохранившуюся в памяти сцену. Опускаюсь на колени. Чем копать? В амбаре должен быть совок, дверь не запиралась никогда. Но, расхаживая по амбару на ощупь, в темноте, я рискую перебудить спящих в доме. Они примут меня за мародера, грабителя и сдадут в полицию. А могут и убить. Ладно, обойдусь без совка. Копать буду руками, ногтями, хотя земля твердая, промерзшая, она сопротивляется, словно вознамерилась ни за что не раскрывать своих тайн. Что ж, тем хуже для нее, накажу ее, ведь я сильнее.

Руки лихорадочно, яростно буравят землю; они не чувствуют холода, усталости, боли. Одна ссадина, другая. Не важно. Продолжай. Ногти дырявят промерзший дерн, пальцы проникают внутрь, я тружусь не покладая рук, душой и телом. Яма понемногу углубляется. Надо спешить. Головой касаюсь земли. На лбу испарина, я вспотел, дошел до иступления. Быстрее, быстрее. Если понадобится, вскопаю весь земной шар — но правду узнаю. Ничто меня не остановит, не испугает. Я доберусь до самых истоков своего страха, до дна ночи — но буду знать.

Который час? Сколько времени я здесь пробыл? Пять минут? Пять часов? Двадцать лет? Эта ночь бросает вызов времени. Я тщился откопать не спрятанную в земле вещь, а само время, душу и память того времени. Ведь тогда для меня не было ничего более срочного, более насущного.

И вдруг меня бьет словно током. Ощущение такое, будто в руку впиваются чьи-то зубы. Пальцы нащупывают что-то твердое, металлическое, прямоугольное. Копал я, выходит, не зря. Сад вращается вокруг меня, надо мной. Я встаю, чтобы перевести дух. Спустя мгновение я вновь на коленях. Осторожно, бережно вынимаю коробку из ее могилы. Вот она, у меня на ладони — последняя реликвия, единственный сохранившийся символ всего, что я любил, всего, чем был. Внутренний голос меня предупреждает: не

открывай ее, в ней нет ничего, кроме пустоты, выбрось ее и беги. Но я к этому предупреждению не прислушиваюсь — пути назад нет. Я должен знать — в любом случае. Слегка нажимаю на крышку большим пальцем, и коробка раскрывается. С трудом сдерживаю сдавленный крик: часы в коробке! Скорей, зажги спичку. Еще одну. Слабый, мерцающий огонек на мгновение освещает то, что лежит внутри. Тело пронизывает острая боль. Неужели эта вещь, этот предмет — мой подарок, моя гордость? Мое прошлое? Грязь, ржавчина, черви — часы невозможно узнать, ничего, кроме отвращения, они не вызывают. Застыв на месте, не зная, что делать, я пялюсь на них с омерзением, какое вызывает обманутая любовь, тело, над которым надругались. Я не справился с любопытством и злюсь на себя за это. Но вот разочарование сменяется искренней жалостью: часы ведь тоже прошли войну и Холокост — свою войну, свой Холокост. Они тоже чудом уцелели, превратились в такое же привидение, покрытое унижительными струпами и стершимися воспоминаниями. Внезапно меня охватывает желание поднести эти грязные, ржавые часы к губам, покрыть их поцелуями, утешить их своими слезами, как утешают живое существо, больного друга, который вернулся издалека и которому нужны доброта и покой, покой особенно.

Касаюсь их рукой, глажу. Помимо сострадания, я испытываю к ним какую-то странную благодарность. Ведь люди, которых я всегда считал бессмертными, безвозвратно исчезли в огненном облаке. Мои учителя, мои друзья, мои наставники меня покинули. А вот эта вещица, этот безымянный, безжизненный предмет выжил с единственной целью приветствовать меня, когда я вернусь, дописать эпилог к моему детству. И во мне просыпается желание довериться своему подарку, поведать ему о своих мытарствах и в ответ выслушать рассказ о том, что довелось пережить ему. Что произошло в мое отсутствие, кто первым присвоил мой дом, мою постель? Или нет, наши доверительные разговоры можно отложить, поговорим в другое время, в другом

месте, в Париже, Нью-Йорке, Иерусалиме. Начну же с того, что отдам часы лучшему ювелиру на свете, чтобы к ним вернулось их прежнее великолепие, память о прошлом.

Время идет. Горизонт окрашивается в пунцово-красный цвет. Пора идти. Жильцы дома скоро проснутся и спустятся к колодцу. Нельзя терять ни минуты. Опускаю часы в карман и иду через сад. Вхожу во двор. Из-под крыльца раздается собачий лай. И тут же смолкает: собака смекнула, что я не вор, кто угодно, только не вор. Открываю калитку. Уже на улице начинаю терзаться угрызениями совести: я совершил первую в жизни кражу.

Поворачиваюсь и возвращаюсь через двор обратно в сад. И опять, как на Йом Кипур, опускаюсь на колени под тополем. Затаив дыхание, кладу часы обратно в коробку, надеваю чехол и слежу сухими, без слез, глазами, как первый мой подарок вновь находит себе приют глубоко под землей. Чтобы скрыть все следы, обеими руками, стараясь не шуметь, засыпаю яму землей.

Выбился из сил. Сердце бьется так сильно, что вот-вот выскочит наружу. Выхожу на улицу. По-прежнему пусто. Останавливаюсь и задаюсь вопросом о смысле того, что я только что сделал. Вопрос остается без ответа.

Теперь, возвращаясь мыслями к этому поступку, говорю себе, что мне просто хотелось оставить в молчаливой земле память о своем существовании. Или же превратить часы в орудие запоздалой мести: в один прекрасный день ребенок будет играть в саду, сядет с лопаткой под дерево, начнет копать и наткнется на металлическую коробку. И узнает, что его родители заняли этот дом незаконно и что в его городе когда-то жили евреи и еврейские дети. Дети, у которых украли будущее.

Солнце уже поднялось, а я все еще брел по пустым улицам и переулкам. В какое-то мгновение мне вдруг показалось, будто я слышу заунывное пение школьников-талмудистов, будто до меня доносятся крики хасидов, читающих утренние молитвы одновременно в тридцати трех местах. Однако

и пение школьников, и молитвы хасидов заглушались внятным, хоть и идущим откуда-то издалека, тиканьем часов, которые я только что предал земле. Похоронил по еврейскому обычаю. Ведь это как-никак был самый первый подарок, который когда-то получил на свой первый в жизни праздник один еврейский мальчик.

С того дня город моего детства перестал быть самым обыкновенным городом, одним из многих. Он превратился в циферблат от часов.

ИСТОРИИ

Ученик пришел к раввину Пинхасу из Кореца.

— Помоги мне, учитель. Печаль моя велика; развежь же ее. Мир полон страданий и невзгод. Люди перестали быть людьми. Я в них не верю. Да и в себя самого тоже. Ни во что не верю. Что мне делать, ребе, что мне делать?

— Изучай Талмуд. Это единственное известное мне средство.

— Горе мне, я не могу даже читать Талмуд. Сомнения мои столь велики, проникли столь глубоко, что лишают меня возможности заниматься. Я открываю Талмуд — и погружаюсь в созерцание. Неделями, месяцами взгляд мой прикован к одной и той же странице, я не в состоянии продвинуться ни на шаг, ни на строчку. Что мне делать, ребе, что мне делать?

Когда еврей не может дать ответ на вопрос, у него всегда имеется в запасе какая-нибудь история. И раввин Пинхас из Кореца отвечает:

— Знай же, то, что происходит с тобой, было и со мной. В твоём возрасте я столкнулся с такими же трудностями. И меня обуревали вопросы и сомнения. О Творце и Его творении. Мне тоже не давались науки. Чего я только ни делал: и Талмуд изучал, и молился, и медитировал. Тщетно. Постился, каялся, молчал. Без толку. Мои сомнения оставались сомнениями, вопросы не получали ответа. Дальше так жить было невозможно. И вот однажды я узнал, что раввин Исраэль Баал Шем-Тов* едет в наш город. Из лю-

* Баал Шем-Тов (Бешт) (1700 — 1760) — основатель хасидизма, целитель и духовный учитель.

бопытства я отправился в дом, где он молился. Когда я вошел, он заканчивал амиду. Раввин повернулся к дверям и устремил на меня пронзительный взгляд. Я понимал, взгляд его обращен не на меня одного, однако я сразу же почувствовал себя не таким одиноким. И вдруг мне захотелось, не говоря ни слова, вернуться домой, открыть Талмуд и вновь погрузиться в чтение.

Вот видишь, — сказал раввин Пинхас из Кореца своему ученику, — вопросы по-прежнему оставались вопросами, сомнения — сомнениями, однако я нашел в себе силы продолжать учебу.

Как и всем еврейским детям в моем городке, мне пришлось готовить речь на бар-мицву, церемонию, которая означала, что в свои тринадцать лет я становлюсь полноправным членом городской общины.

За несколько дней до этого события я пошел к ребе и попросил его не приходить ко мне на бар-мицву.

— В вашем присутствии я рта не смогу раскрыть. Тому немногому, что я узнал и понял, я обязан вам. Всё, что я могу сказать, вы и так уже знаете. Лучше, чем я. Говорить с вами при всех значило бы строить из себя учителя в присутствии учителя.

Ребе был человеком мягким, к тому же замкнутым, не любящим церемоний, поэтому я искренне удивился, когда он мне отказал.

— Ты не хочешь, чтобы я присутствовал на твоей бар-мицве? Прости, но я все же приду.

Заметив, как я взволнован, он поспешно добавил:

— В дальнейшем ты будешь учить других, передавать другим то, что узнаешь сегодня от меня, от таких, как я. И тогда слушать тебя мне уже будет незачем. Но помни: я не прошу рассказчика исполнять роль учителя; я прошу только об одном: чтобы он исполнил долг вестника и свидетеля.

К удивлению моих родителей и друзей, на церемонии бар-мицвы я обошелся без речи.

Эта история о гетто, которое перестало существовать, и о синагогальном стороже, который лишился рассудка.

Сторож имел обыкновение каждое утро нестись в синагогу, подыматься на биму и кричать сначала с гордостью, а потом с гневом:

— Я пришел известить тебя, Властелин Вселенной, что мы здесь!

А потом был первый погром, за ним другие. Сторож почему-то уцелел; он побегал в синагогу и, стуча кулаком по кафедре, закричал что есть силы:

— Вот видишь, Господь, мы еще здесь!

После последнего погрома он остался в опустевшей синагоге один. Единственный оставшийся в живых еврей, он в последний раз поднялся на биму, уставился на Ковчег Завета и с бесконечной кротостью прошептал:

— Видишь? Я еще здесь.

Помолчал, а затем своим печальным, невыразительным голосом добавил:

— А Ты? Ты-то где?

Его называли безумцем, безумцем из гетто. Умиравшие от голода делились с ним коркой хлеба, картофельной кожурой. А он за это смешил и развлекал их. Убийцы на его жизнь не покушались. Людей увозили, а он оставался.

— Как тебе удастся спастись от облавы? — спрашивали его.

— Меня защищает одна очень важная персона.

— Кто же?

— Сам Председатель юденрата. Я пошел к нему и сказал, что гетто без своего сумасшедшего не выжить. «Если вы меня убьете или дадите убить, мое место займете вы».

Вскоре этот спор потерял всякий смысл — гетто исчезло с лица земли.

С кровожадным юмором убийцы сообщили обитателям гетто, что повесят десять заложников в отместку за казнь Ама-

на и его сыновей, состоявшуюся две тысячи лет назад в царстве Артаксеркса, о чем повествуется в Книге Эсфири.

Среди заложников (их всех в честь дяди Эсфири звали Мардохеями) был бедняк, водовоз по профессии. Только он один поднялся на плаху со смехом. С громким смехом.

— Ты что, спятил?

— С чего вы взяли? Конечно нет, — ответил он, истерически хохоча.

— И ты не боишься умереть?

— Умереть?! Боюсь ужасно.

— Почему ж тогда смеешься?

— Одно другому не мешает, — ответил водовоз и объяснил палачам: — Сегодня я Мардохей, водовоз. Но завтра! Завтра я буду Мардохеем Мучеником, Мардохеем Святым. А его вам никогда не вздернуть, никогда.

И он засмеялся. И в глазах у него не было слез.

Заклучив, что человеческое страдание непереносимо, некий раввин поднялся на небеса и постучался в ворота Мессии.

— Почему ты медлишь? — спросил он. — Разве не знаешь, что человечество ждет тебя?

— Люди ждут не меня, — отвечал Мессия. — Одни ждут крепкого здоровья и богатства. Другие — безмятежности и знаний. Третьи — мира и счастья у себя в доме. Нет, не меня они ждут.

Раввин потерял терпение.

— Так тому и быть! — воскликнул он. — Раз у тебя всего один лик, пусть же он остается в тени! Раз ты не можешь помочь людям, всем людям, справляться с трудностями, даже самыми незначительными, тогда оставайся там, где ты есть, и таким, каким ты есть. Раз ты до сих пор не догадался, что ты — хлеб для голодных, голос для одинокого старика, сон для тех, кто страшится ночи; раз ты не понял всего этого, а также того, что каждое ожидание — это ожидание тебя, значит, ты говоришь правду: человечество и в самом деле ждет не тебя.

Раввин вернулся на землю, собрал своих учеников и запретил им отчаиваться:

— Вот теперь начинается настоящее ожидание.

Вчера красивая молодая девушка образцового поведения увидела, как за окном, словно желая овладеть ею, сгущаются сумерки. Сердце у нее тревожно забилося. Она повернулась к отцу, который спокойно читал газету.

— Я очень тебя люблю, отец, — сказала она. — Ты ведь знаешь, что люблю, верно?

— Конечно, — рассеянно ответил отец, не отрываясь от газеты. — Ты обворожительна. Я горжусь тобой.

Девушка повернулась к матери, накрывавшей на стол:

— И тебя, мама, я тоже очень люблю. Я не очень часто об этом говорю, в этом нет необходимости. Но это чистая правда.

Мать с удивлением посмотрела на нее:

— А как же иначе! Дочь должна любить своих родителей. Мы тебя тоже любим. Кроме тебя, у нас ведь никого нет. — И, довольная собой, она продолжала расставлять тарелки, раскладывая вилки и ножи, а также салфетки.

Девушка вспомнила о юноше, за которого собиралась замуж, и ей стало грустно.

— Мы с тобой победим зло, заново создадим мир, родим детей, и я буду их любить, любить изо всех сил, точно так же, как и тех детей, которых у нас никогда не будет.

Тем временем незнакомец пересек погруженную во тьму улицу, посмотрел, подняв голову, на окна с наглухо задернутыми занавесками и медленным шагом двинулся прочь.

— И тебе тоже, незнакомец, — прошептала девушка, — я подарю свою любовь. Пусть же судьба приведет тебя к желанной цели. Пусть надежда избавит тебя от страха, который ее и породил. Пусть любовь в тебе не убьет радость, пусть радость в тебе станет пристанищем, а не тюрьмой.

Девушка говорила с незнакомцем до тех пор, пока тот не повернул за угол. А затем воскликнула:

— Что мне делать, любимый Господь, что мне делать?! Я люблю всех, и только себя полюбить не в силах. — В ее голосе не было ни упрека, ни сожаления.

И девушка, добродетельная и прекрасная, выбросилась из окна.

Один из Праведников пришел в Содом, преисполнившись решимости спасти его жителей от грехов и наказания за грехи. Днями и ночами ходил он по улицам и рынкам, осуждая зависть и воровство, клевету и равнодушие. Вначале люди слушали и недоверчиво улыбались. Затем слушать перестали: в том, что он говорил, они уже ничего забавного не находили. Убийцы продолжали убивать, мудрецы хранили молчание, как будто не было среди них Праведника.

Однажды ребенок пожалел незадачливого проповедника:

— Бедный странник. Ты кричишь, надрываешь тело и душу. Неужели не видишь, что это бесполезно?

— Вижу, — ответил Праведник.

— Зачем же тогда продолжаешь проповедовать?

— Отвечу. Вначале я думал, что смогу изменить человека. Теперь же я понимаю, что мне это не удастся. И если сегодня я по-прежнему кричу, кричу во весь голос, то лишь для того, чтобы не дать человеку изменить меня.

СКРИПКА

Как почти все еврейские родители из штетла, мои мать с отцом мечтали, чтобы их сын научился играть на скрипке. Нет, они вовсе не хотели, чтобы я стал, не дай Бог, профессиональным скрипачом или скрипачом-любителем. Игра на скрипке должна была стать частью моего образования. Как Талмуд. Или латынь. Умение играть на скрипке производило хорошее впечатление. Повредить, во всяком случае, этот навык никак не мог.

Особого энтузиазма скрипичное искусство у меня не вызвало, однако я готов был попробовать. То, что пригодилось царю Давиду, решил я, пригодится и мне. Вместе с тем подобрать подходящего учителя из десятка имевшихся в нашем городе оказалось делом непростым. Некоторые готовы были даже приходить ко мне домой, однако у нас была всего одна комната. К тому же это могло вызвать недовольство соседей. У госпожи Тудос заниматься тоже смысла не имело. Мало того что она далеко жила — она была женщиной. Что скажут люди?

Наконец, после долгих поисков, отец нашел идеального учителя, им оказался капитан полиции; участок находился совсем рядом, на противоположной стороне улицы.

Из дружеских чувств к отцу капитан согласился давать мне уроки бесплатно. Для начала — три урока в неделю, а потом — каждый день, чтобы через несколько лет я смог дать (об этом договорились заранее) свой первый концерт в субботу вечером, у раввина из Борша, на традиционных проводах Субботы.

И вот мне подарили подержанную скрипку, и капитан передал отцу, что ждет меня.

Был воскресный день. Пропуская меня в отделение, охранник отдал честь, как будто я был офицером. Я же ему не отсалютовал — у меня были заняты руки: в одной я держал скрипку, в другой — бутылку куйки, подарок капитану от отца. Но даже если б руки у меня были свободны, я все равно не знал бы, что делать: никто ведь никогда не учил меня, как должен повести себя робкий, маленький еврейский мальчик, когда ему отдает честь здоровенный полицейский сержант.

Капитан сидел за столом, положив ногу на ногу.

— Подойди поближе, — приветствовал он меня, усмехнувшись. — Не бойся. Дай-ка я на тебя посмотрю. Ты, стало быть, новый Паганини.

— Нет, господин, — ответил я, не понимая, кого он имеет в виду.

— Это я глупость сказал, — продолжал капитан. — Какой же ты Паганини, раз ты еврей! Будешь нашим Хейфицем.

О второй знаменитости я знал ничуть не больше, чем о первой, но догадался, что он еврей, и успокоился. Правда, ненадолго: в следующую минуту капитан велел мне повернуться к нему спиной. Наверно, чтобы рассмотреть меня со всех сторон.

— Первый урок, — объявил он. — Что-то надо сделать с твоими пейсами.

— Нет! — крикнул я, перепугавшись еще больше.

Я бы ни за что не дал отрезать себе пейсы, ведь в них я был похож на еврея.

— Это необходимо, — повторил капитан. — С этими пейсами, которые лезут тебе на глаза, ты играть не сможешь.

— А я и не хочу играть, — закричал я. — И не буду — если отрежете мне мои пейсики!..

Я представил, что мне придется выбирать между музыкальным будущим и еврейским вероучением, и уже слышал, как принимаю мученичество.

— Не валяй дурака, — сказал капитан. — Никто их тебе не отрежет. Кому они сдались? Хочешь носить завитки — носи! Но имей в виду, перед тем, как сюда приходиться, тебе придется зачесывать их за уши. А по дороге домой можешь выпускать снова. Что скажешь? Согласен?

— Нет, — ответил я дрожащим голосом. — Я — еврей. А еврей не имеет права менять свой внешний вид. Если еврей прячет пейсы, он — лжец и проходимец, и ему должно быть стыдно.

Капитан пристально посмотрел на меня и пожал плечами:

— Какой же ты упрямец, мой маленький еврейский друг. Как, впрочем, и все твои соотечественники. И все же ты мне должен понравиться. Думаю, мы поладим.

Он был низкорослый и широкоплечий. Крупные черты лица, низкий лоб и темные глаза под густыми ресницами производили сильное впечатление. Я не решался встретиться с ним глазами.

— Ладно, — сказал капитан, — давай инструмент, сейчас покажу тебе, что значит играть на скрипке.

Он схватил скрипку и заиграл свою любимую дойну. Закрыв, будто в трансе, глаза, капитан, казалось, погружается в детство, находится где-то очень далеко, среди цыган. Я боялся вздохнуть, однако внимательно следил за каждым его движением, за тем, как под смычком лихо выплясывают его воспоминания. Я был потрясен до глубины души.

— Понял? — спросил он, словно удивившись, что я все еще здесь. — Вот и ты должен играть так же.

Затем он показал мне, как стоять, как держать инструмент в левой руке, а смычок в правой, как не сбиться с ритма и сделать так, чтобы скрипка была продолжением руки и выражением души.

Пока я тренировался, капитан откупорил бутылку, поднес ее ко рту и сделал несколько глотков. Способен ли ученик доставить ему такое же удовольствие, какое он получал от своей куйки, так навсегда и останется для меня тайной.

Спустя два дня я явился вновь с той же самой скрипкой и очередной бутылкой. Так и повелось: пока капитан пил, я

осваивал скрипичное мастерство и привыкал к издаваемым скрипкой звукам. Если бы он учил так же хорошо, как пил, я бы, наверное, играл куда виртуознее, чем играю сейчас.

Капитан до сих пор стоит у меня перед глазами: мечтательный взгляд, локти широко расставлены, на столе бутылка. Пил он с закрытыми глазами. Иногда приходил вдруг в бешенство, выхватывал скрипку у меня из рук и лихорадочно исполнял какую-нибудь дикую свою мелодию. Немного успокоившись, приказывал сыграть эту же мелодию снова, а сам вновь прикладывался к бутылке. До тех пор пока бутылка не опустошалась, я мог играть, однако как только куйка кончалась, заканчивался и урок. По счастью, его влияние на меня ограничивалось только музыкой.

Учителем, теперь я это понимаю, капитан был неплохим — в зависимости от необходимости суровым и снисходительным, внимательным и рассеянным, терпеливым и нетерпимым. Посвящая меня в секреты своего мастерства, он сообщал мне его ритм и огонь. И вот спустя несколько лет когда-то задуманный концерт у раввина из Борша стал реальностью.

Концерт этот, понятно, так и не состоялся. Мой городок был аннексирован Венгрией, и румына, капитана полиции, перевели в другое место, когда я еще не был готов выступать на публике.

Отец предпринял немало усилий, чтобы подыскать мне кого-то другого, однако из пяти или шести учителей музыки, к которым он обратился, мне не понравился ни один. Тем временем у меня появились другие занятия, другие увлечения, и замолчавшая скрипка, к большому неудовольствию родителей, перешла из разряда живых существ в категорию предметов неодушевленных, о чем вскоре с упреком напомнил мне отец.

Мы с ним только что прибыли в лагерь, и нас обоих тут же определили в лагерьный оркестр. По наивности отец полагал, что у профессиональных музыкантов больше шансов выжить. «Видишь, — сказал он мне, — если б ты меня по-

слушал и не бросил скрипку, был бы сейчас полноправным оркестрантом».

Он словно бы ругал меня за то, что я не сделал карьеры за лагерной стеной, упустил шанс стать богатым и сильным.

Я же, по правде сказать, был рад, что не владею мастерством, необходимым для вступления в оркестр. В лагерном оркестре я все равно играть не смог бы. Или смог бы, что еще хуже.

К тому же отец ошибся: из лагерных музыкантов, которым мы так завидовали, не выжил никто.

ПЕРВЫЙ ГОНОРАР

Если б кто-то в детстве сказал мне, что в один прекрасный день я стану писателем, я бы отвернулся, решив, что меня путают с кем-то другим.

Ведь тогда будущее рисовалось мне со всей определенностью. Я буду продолжать свои штудии среди тех же людей, с тем же рвением исследуя священные тексты и прокладывая путь тайному знанию, ведущему к самоосуществлению посредством самопреодоления.

Романы казались мне детской забавой, их чтение — пустой тратой времени. Только последний дурак мог увлечься вымышленной вселенной, состоящей из одних слов, в то время как была другая Вселенная — огромная и необъятная, истинная и реально присутствующая. Я предпочитал Творца Его творению, молчание — откровению.

Что же касается Франции, чей язык я выбрал для своих произведений, то она ассоциировалась у меня с некоей мифической страной, реальной лишь потому, что упоминание о ней встречается у Раши* и в других комментариях к Библии и Талмуду.

Понадобилась война — и какая война! — чтобы заставить меня избрать иной путь, чтобы не сказать иную судьбу.

История этого пути могла стать не моей историей. И не мною написанной.

* Раши (раби Шломо бен Ицхак) (1040 — 1105) — один из величайших еврейских учителей-талмудистов, автор комментариев к Торе и Талмуду.

Моим первым гонораром стали две миски супа, которыми я был награжден за произведение, так никогда и не написанное. Вкус этого супа я ощущаю на губах по сей день.

...Случилось это давно, в том месте, где все люди носят одинаковые маски под одинаковыми лицами, где глаза у всех людей одинаковы пусты.

Я был молод, только что из иешивы, слишком молод, чтобы привыкнуть к кожаным ремешкам тфилина. На моей левой руке еще сохранился отпечаток от его ремешков. В своем воображении я все еще бегал за своими учителями, оставался их учеником — хотя и не наследником. На плечах я носил камни тяжелее себя самого, однако воображал, что сижу среди мерцающих свечей и решаю вопросы, поставленные много веков назад, в других местах, на другом конце света, а может, и истории.

Вначале сил на сопротивление мне хватало. К тому же мне повезло, да, повезло: со мной рядом трудился бывший рош-йешива из Галиции. Имени его я не запомнил — а может, и не знал. И лица тоже — мы ведь не смотрели друг на друга. В памяти сохранился лишь его незабываемый голос — низкий и глухой, голос друга, больного друга.

— Ты здесь недавно? Позволь тогда вместо приветствия сказать тебе, в чем твоя первейшая обязанность. Ты должен выстоять. Слышишь? Выстоять любой ценой. Главное, не поддаваться злу, от кого бы оно ни исходило.

Подумай о своей душе, и ты будешь сопротивляться лучше, — продолжал он, согнувшись и не глядя на меня. Теперь он говорил тише и вместе с тем как-то мягче: — Душа много значит, и враг это знает. Потому он и старается, прежде чем нас уничтожить, растлить нашу душу. Не поддавайся ему. Душа значит больше, чем тело. Если душа сохранит силу, выдержит испытание и тело. Говорю тебе все это только потому, что привезли тебя сюда совсем недавно и ты еще не утратил способности слушать. Через месяц будет поздно. Через месяц ты уже не будешь знать, что такое душа.

— Но ведь душа бессмертна? — наивно спросил я.

Мы продолжали копать. Он остановился и шепотом, словно не желая слышать собственный голос, ответил:

— Ты скоро поймешь, что здесь не место и не время рассуждать о бессмертии.

Подумав, что я его обидел, я решил было извиниться, но он меня опередил:

— Вот тебе мой совет, дружок. Если хочешь выстоять, защити свою душу — и она защитит тебя. А для этого надо только одно — учиться.

— Учиться?

— Изучать Тору. Больше ведь изучать нечего. Это единственный путь, который куда-то ведет. Встань на эту дорогу и иди по ней. Изучай Тору так же, как раньше, — только еще прилежнее, с еще большим рвением.

— Но это безумие, — возразил я. — Как здесь изучать Тору? Без учителей, без книг?

— Без них ты скоро научишься обходиться. Ты совершишь прыжок вспяť, на две тысячи лет назад. Здесь Талмуд тоже послужит прибежищем. Изучать его ты будешь так же, как ему учили давным-давно в Суре и Пумбедите, — по памяти. Здесь, дружок, у нас нет выбора. Хотим мы того или нет, каждый из нас должен быть одновременно и раби Йохананом бен Закай*, и раби Акивой**, и раби Йегудой***...

Внезапно перед нами возник капо, и он умолк. Когда же опасность миновала, рош-йешива продолжал с прежней энергией:

— ...а это значит, что все раввины, все мудрецы, все святы с самого начала нашей истории готовились к тому, что

* Йоханан бен Закай — жил в I в., основал в Явне, недалеко от Яффы первую Академию фарисеев. Раби Академии внесли большой вклад в создание канонических текстов Торы.

** Раби Акива — жил во II в., мудрец, талмудист, герой множества легенд еврейского народа, был замучен и убит римлянами.

*** Раби Йегуда Ганаси жил на рубеже II — III вв., записал Мишну, которая стала системой законов и легла в основу Талмуда.

здесь происходит. Здесь — наша новая иешива, новый дом Торы и Шехина.

Он стал моим учителем.

— На чем ты остановился, изучая Тору?

Я ответил: на трактате о третьей главе.

— Какая страница?

Я назвал номер страницы.

— Хорошо. Продолжим. Нельзя терять ни минуты.

Он знал наизусть весь трактат. Больше того — весь Талмуд. Причем и Иерусалимский, и Вавилонский. И все Комментарии. У себя дома он наверняка был элуем, учителем чья эрудиция и мудрость вызывали всеобщее уважение и восхищение. Здесь же, как и мы все, он страдал от голода, слился с толпой. Для него, впрочем, это значения не имело. Ему было важно другое: даже здесь, в лагере, он смог, благодаря единственному ученику, вновь стать рош-йешивой. Я готов был черпать знания, он — их давать. А значит, сохранять силы; он был силен, как сама жизнь, а может, и сильнее. Для меня он явился олицетворением свойственной евреям потребности делиться своими знаниями — и потребность эта вселяла в него уверенность в собственной незаменимости и несокрушимости.

Несколько недель подряд мы занимались по многу часов в день, порой без перерыва, забывая о том, где мы находимся, что нас окружает.

Как проходили занятия? Сначала он читал отрывок по памяти, затем я его повторял, после чего мы подробно и всесторонне его обсуждали. С ним я выучил больше, чем за все предшествующие годы домашних штудий.

Но вот настал день разлуки. Неожиданный и неотвратимый, как и всё в лагере. Рош-йешива не успел даже меня благословить: его перевели в другой лагерь, и больше я его не видел.

В результате занятия мои прервались во второй раз. Впрочем, останься учитель в лагере, продолжать заниматься я все равно не смог бы. Силы меня покидали. Я утратил

присутствие духа, и вслед за душой сдавать стало тело; они слабели и порознь, и вместе.

В жалкой корке заплесневелого хлеба содержалось теперь больше истины, больше вечности, чем на всех страницах всех книг, вместе взятых. Сведенный до уровня материи, дух и сам превратился в материю. Подобно тому как наши тела стали похожи друг на друга, наши сердца наполнились одним-единственным желанием — хлеба и супа, и по возможности сегодня гуще, чем вчера. Утолить голод чем-то другим мы и не помышляли.

Однажды вечером старший по бараку, чешский еврей, человек более гуманный, чем другие старосты, объявил о своем решении наградить лучшего рассказчика двумя порциями супа. В «литературном конкурсе» участие могли принять все желающие, и набралось их немало: заключенным не терпелось выговориться. Старший по бараку вызывал одного претендента за другим, выступавшим давалось по три минуты. Одни рассказывали о былых успехах, другие о нынешних страданиях. Одни говорили с юмором, другие с чувством. Одни выражались высокопарно, другие — сбивчиво и неполголоса. И все зывали к нашей жалости.

До меня очередь дошла почти в самом конце. Выступать я, вообще говоря, не собирался и был захвачен врасплох. Вероятно, старший по бараку обратил на меня внимание из-за моего юного возраста и решил, что, дав мне шанс, он лишний раз продемонстрирует свое человеколюбие.

— А вы, молодой человек, что вы нам расскажете?

— Я? Ничего.

— Как же так? Вы что же, не хотите есть?

— Нисколько, — ответил я не колеблясь.

— Врунишка!

Я наблюдал за ним словно со стороны. И за собой тоже.

Не получив ответа, он повысил голос:

— Безумец! Я даю ему шанс, а он отказывается. Тебе что, жить не хочется?

— Вы меня не поняли. Мне нечего рассказать... и я... я ни в чем не нуждаюсь. В любом случае очень вам благодарен.

— Да ты спятил!

— Нет, я в своем уме. И у меня все есть. Большое спасибо.

Такой реакции старший по бараку никак не ожидал и, потрясенный и возмущенный, принялся выпрашивать: кто я, откуда родом, сколько времени нахожусь в лагере и почему не могу ради того, чтобы насытиться, придумать историю.

— Потому что я совершенно сыт. Я и в самом деле ни в чем не нуждаюсь. Ни в вашем супе, ни в вашей жалости. Если хотите знать, я только что поел. И наелся до отвала. Честное слово. Вам такая еда и не снилась.

— Не снилась?.. — с раздражением переспросил он. — Наелся до отвала? Сегодня? Здесь? Нет, ты положительно спятил. Сошел с ума. Свихнулся. Ты погибнешь. А я-то хотел тебе помочь...

Он поедал меня глазами с таким нескрываемым недоверием, что я решил ничего от него не скрывать. И начал во всех подробностях описывать, каким великолепным ужином я только что в своем воображении лакомился. Я перечислил все блюда, вина, фрукты, десерт.

Пригласив его на этот пир, я напомнил ему, что сегодня пятница, Шабат. Белая скатерть, серебряные подсвечники. Безмятежность, радость. Моя мать, воздев над головой руки, благословляет свечи. Сестренка накрывает на стол. Имей в виду, сестра, сегодня у нас гости. Она переставляет приборы. Дверь открывается, и входит дед, он распевает ритуальную песню, приглашает ангелов Шабата почтить нас своим присутствием. Отец благословляет вино, разламывает хлеб. Служанка подает рыбу. Дед ест с аппетитом, поет с энтузиазмом. Когда его зять пытается завести разговор о политике, он его перебивает: нет, нет, только не сейчас, на Шабат никакой политики. Сегодня ведь Шабат в нашем доме и в доме Бога; мир и радость Шабата — для всех, кто в этом нуждается, для всех и повсюду.

Я выражался простыми словами; во мне говорил ребенок, делился своей мечтой. Вокруг, внимательно слушая, качая головами, столпились узники. Для каждого из них я стал тем самым ребенком, каким каждый заключенный когда-то был. Даже у старшего по бараку взгляд сделался отрешенный.

— Ужин в пятницу длится долго, — продолжал я. — Из-за земирот, песен. Их ведь так много. И мы их любим — все до одной. Из-за той страсти, той тоски, которые в них содержатся, петь эти песни считается большой честью. А потом, к чему спешить? Время у нас есть, много времени. Рабочий наутро не пойдет на работу, путник не отправится в путь, бродяга наконец-то отдохнет, он может не страшиться часа пробуждения. Сегодня Шабат, и душе потребна лишь другая душа, чтобы начать и закончить творение. Тело же не нуждается ни в чем. Сегодня вечером, во всяком случае. После такого ужина...

Когда я кончил свой рассказ, воцарилось долгое молчание. Первым нарушил его старший по бараку.

— Bravo, молодой человек! — вскричал он. — Bravo! Отличная история! — И, повернувшись к собравшимся, заявил: — Объявляю его победителем. Возражения есть?

Вопрос, естественно, был риторическим. В одобрении заключенных он не нуждался, да и перечить ему никто бы не посмел.

И вот старший по бараку торжественно вручает мне две миски густого супа. Чувствую на себе жадный взгляд сотен глаз, беру «призы» и отношу их к себе на нары. Одну миску прячу, а в другую опускаю ложку. И, прежде чем поднести ложку ко рту, долго-долго мешаю густую, клейкую массу.

К горлу подкатывает неожиданная, непреодолимая тошнота. Я испытываю гнетущее чувство, будто давлюсь собственной историей. Сделавшись всеобщим достоянием, история стала вдруг какой-то куцей и невыразительной. Она тускнеет в памяти, растворяется в прошлом, перестает быть моей.

ДИАЛОГИ III

Это ты на меня смотришь с такой злостью?

Да. На тебя.

Ты меня знаешь?

Знал когда-то.

Мы встречались?

Часто. Даже очень.

Где?

Там.

Правда? Что-то я тебя не запомнила.

Зато я тебя запомнил.

И как же я выглядела?

Черного цвета.

Что???

Черная — во всем. Дубинка, дым, злые глаза убийц, безжизненные глаза жертв — все было черным. Колочая проволока, сторожевые вышки, камни, бескровные губы; все, что было черным, было тобой...

Это мой любимый цвет.

...Я не видел ничего, кроме тебя. С утра до вечера и с заката до рассвета. Тебя, тебя, только тебя, тебя одну. Ты была безвестным узником, чье горячее, срывающееся дыхание я чувствовал у себя за спиной во время переклички.

Больным стариком, жадным взглядом провожающим корку хлеба, которую я собирался съесть втихаря. Другом, прижимающимся ко мне, и умирающим, прижимающимся к моему другу. Тварью, припрятывающей оловянную миску супа, более густого, чем мой. Отцом, который споткнулся, и сыном, который так боялся, что не решился ему помочь. Капо, который наказывал узников, и узниками, которые молча или с криками ему подчинялись. Всеми этими людьми была ты, ты одна.

Странно, я не помню твоего лица.

Ты была слишком занята, перегружена. Нас было много, а ты — одна.

И все же... у меня хорошая память... я обычно не забываю... ты уверен...

Уверен, уверен. Я ведь был там. Был твоей жертвой, твоей собственностью. Скрывался под твоей черной тенью! Я был твоей вещью... Твоя власть была ни с чем не сравнима и несравненна. Ты была всем. Всем и вся. Мы бежали от тебя к тебе. Скрыться было невозможно: мы были в тебе.

Почему ты так волнуешься? Кричишь и кричишь. Сердишься на меня? Даже сейчас?

Я сердился на тебя.

Но почему? Я ведь тебя отпустила.

...И зря.

И это называется благодарностью? Если б я знала...

Договаривай. Если б ты знала?

Не важно.

Если б ты знала, ты бы меня не пощадила. Ты это хотела сказать?

Возможно.

Почему ж тогда пощадила?

Потому что я не знала — я же только что сказала.
Ты не хочешь говорить на эту тему. Почему?

Ты был слишком молод, скажем так.
Были и моложе меня. Их ты взяла.

Ты больше заслуживал пощады, скажем так.
Я? Врешь. Я был ничем не лучше своих товарищей и, уж конечно, ничем не лучше своих последних друзей.

Может, кто-то за тебя вступился?
Кто же?

Твои предки. Или твои учителя. Откуда мне знать?
Выходит, я выжил не случайно? Ты знала, что делаешь? Ты была не просто посредником? Больше, чем орудием в чьих-то руках?

Гораздо больше.
И твои решения были продуманы, не случайны? Ты знала, зачем и с какой целью одних посылать прямиком в бездну, а других — дорогой пыток и иллюзий? У тебя был хорошо продуманный план, программа, цель?

Ты хочешь, чтобы я сказала «да»?
Конечно. Но я хочу знать правду.

Должна тебя разочаровать. Потому что мой ответ — «нет». Я не следовала ничьим указаниям, не придерживалась никаких принципов. Никто не говорил мне, в чем состоит моя задача. Никто не давал мне указаний держаться в рамках, не покушаться на жизнь определенных людей. Мои действия не были частью какого-то тайного плана и не содержали скрытого умысла. Свою работу я делала почти машинально, ни во что не вникая. А ведь обычно свое дело я делаю тща-

тельно. Никогда не совершаю ошибок. Прежде чем выйти, так сказать, на сцену, я оглядываюсь по сторонам. Я знаю, это — не по правилам, но такова моя работа. К каждому живому существу, чтобы избежать ошибок и путаницы, у меня сугубо индивидуальный подход, требующий тщательной оценки. То, что происходит с человеком, несущим мою печать, произойти может только с ним. Там, впрочем, все было иначе. Один человек мог всегда занять место другого. Мертвые могли не умереть?

Конечно.

А оставшиеся в живых могли и не выжить?

Естественно.

Ты говоришь это не для того, чтобы меня обмануть или ущемить? Ты и в самом деле не выполняла чью-то волю? Не проводила в жизнь закон в соответствии с определенными критериями? Не исполняла роль? Не играла в игру?

Я была равнодушна. Рассеянна. А вернее — свободна.

А твое имя? В конечном счете оно ведь свидетельствует о твоём подчиненном положении. Ты призвана осуществлять задачи, поставленные перед тобой твоим господином — нашим господином! Ведь это он говорит тебе, куда идти и кого хватать, разве нет?

Как правило, да. Но там — там за все отвечала я. Я обладала неограниченной властью. Я делала все, что мне заблагорассудится. Он никогда не вмешивался, никогда ни на чем не настаивал. Как и у него, у меня не было имени — или же имен было слишком много. Все имена были моими. Он забавлялся, а я скучала.

Значит, всё... всё происходило по воле случая?

По воле случая.

И я мог с тем же успехом оказаться сейчас совсем в другом месте?

Именно так.
Какой ужас.

Что ты сказал?
Это ужаснее, отвратительнее, чем я думал.

Что именно?
Что все происходило по воле случая. По воле случая. По воле случая.

Если для тебя это так важно, можешь, если хочешь, пойти со мной сейчас. Это ведь никогда не поздно.
Сейчас — совсем другое дело.

Я что, так сильно изменилась?
Нет, не изменилась.

Ты изменился?
Нет, и я не изменился.

Что же в таком случае изменилось?
Отношения между нами. Раньше были только ты и я. Теперь же мы больше не одни. Если я последую за тобой, мой уход отразится на других.

Только не говори мне, что ты счастлив!
Не в этом дело.

Тебе кажется, что ты нужен, необходим?
И не в этом тоже.

Так в чем же?
Раньше я был тобой. В глазах человека, стоящего за мной в очереди за хлебом, и в глазах старика, чьи шансы на выживание таяли с каждым часом. Ведь моя молодость, моя способность к сопротивлению обрекали их на смерть. Во мне

они видели тебя. Но это было в прошлом. Я слабее, бесконечно слабее тебя, но тобой я быть перестал.

Ты это серьезно?

Более чем.

В таком случае мне тебя жаль.

Ты знаешь, что такое жалость?

Да, я знаю это слово, я знаю все слова! Мне тебя жаль, потому что ты слабеешь. Ты принимаешь лишь то, что тебя устраивает. Знай же: последуешь ты за мной или нет, для некоторых я все равно останусь тобой. Верить ты мне или нет, несущественно; мне верят они. И мне этого вполне достаточно. Что же до них, то им никакие случайности не грозят. Лучше б ты меня тогда не пощадила, лучше б не пощадила.

Подойди поближе. Кого ты хочешь видеть?

Сама знаешь.

Смотри внимательно, и ты их увидишь. Ты их узнаешь?

Думаю, да.

Видишь их?

Пока нет.

Подойди поближе.

Вот сейчас вижу.

Всех?

Нет, не всех.

Кого нет?

Ребенка.

Он должен быть там. Посмотри еще раз.

Я его не вижу.

Вероятно, это твоя вина, а не его. А остальных? Остальных-то ты видишь?

Вижу. Хорошо вижу. Они почти не изменились. У них почему-то такой вид, будто им холодно. Чтобы согреться, они жмутся друг к другу. Дрожат.

Им страшно?

Страху они не подвластны.

Почему же они дрожат?

Не знаю.

Спроси у них.

Не смею.

Ты не собираешься с ними говорить?

Я говорю с ними. Но они, похоже, меня не слышат. Вместе с тем они смотрят на меня; они меня видят — но говорить не хотят.

И в этом тоже виноват, наверное, ты, а не они.

Очень может быть.

Смотри-ка, теперь дрожишь уже ты!

Я и не заметил. Мне казалось, что я тоже не подвластен страху.

Значит, ты дрожишь от гнева.

Надеюсь.

Одну минуту! Следи за собой! Не распускайся! И, сделай одолжение, не трогай зеркало, оно может разбиться. А я без него не обойдусь, мне оно нужно, слышишь, нужно!

Нужнее, чем я?

Нужнее, чем вы все. Для тебя это возможность погрузиться в мечты, а для меня — стимул к действию.

Не волнуйся, я твое зеркало не разобью. Его разобьет ребенок. А против него ты бессильна. Взгляд на него не действует. И он не дрожит. Он мертв. Ты дала ему возможность избежать твоей хватки.

Нет, это поразительно. Ты отказываешься меня понимать. Его убила не я. Его убил ты сам.

ОЖИДАНИЕ

Мне бы хотелось поведать вам историю женщины по имени Барбара, — впрочем, истории этой я не знаю. Рассказывать мне ее Барбара отказалась. Скорее, из страха, что ее запомнят, а не осудят, она попыталась всеми возможными способами изъять эту историю из людской памяти, в том числе и из своей собственной. «Мужчины, эти дурни, — говорила она, — думают, что покупают мое тело; я же продаю им свою память».

Ее прошлое, как и прошлое любого человека, состояло из слов, а будущее — из образов. Как и у всех нас, у нее была история, которая ей не нравилась, история бесчисленных связей с неизвестными ей мужчинами с угрюмыми лицами и вульгарными манерами. Мужчи́нами, без конца сменявшими друг друга, будто в пьесе с зеркалами, где один и тот же жуткий силуэт предстает в тысяче отражений. Уродовать и искажать эту историю доставляло Барбаре удовольствие; она роняла ее в грязь, чтобы потом украсить красивой ложью, — рассказ был фальшивым от начала до конца. А может, подобное искажение было единственной возможностью изменить эту историю до неузнаваемости даже для самой себя?

Какая разница? Ведь теперь, отказавшись от своего прошлого, она обрела историю, которая будет принадлежать ей и только ей, незапятнанную историю, в которой она одна действует с начала до конца; историю, прожитую ею одной и до сих пор не известную никому, даже Богу. Историю, которую мужчинам, этим дурням, не понять никогда.

Я был тогда еще очень молод. Так молод, что инстинктивно ускорял шаг, когда в своих прогулках по городу мне слу-

чалось идти по сумрачным, глухим улочкам, где по стенам домов в непрестанном ожидании самых разнообразных друзей или врагов жались всегда готовые получить предательский удар в спину беспокойные ночные существа.

Я сторонился их, избегал. Они внушали мне какой-то мистический страх. Всякий раз когда одна из них подходила ко мне, что-то шепча и похотливо заглядывая в глаза, я опускал голову и краснел. «Нет, спасибо», — бормотал я, сознавая, какой грех совершаю, ибо сказать следовало: «Да, спасибо».

В Библии кедоша значит «священный», а кедеша — проститутка. В том, что у этих двух слов один и тот же корень, заключалась для меня какая-то загадка, тайна. Впрочем, для раскрытия этой тайны мне обычно не хватало ни мужества, ни денег. Я боролся с искушением, но гордости от этого не испытывал.

В ту летнюю ночь, однако, все было иначе. Я никак не мог заснуть и решил пройтись вдоль Сены. Настроение у меня был подавленное. Уже несколько недель я пребывал в постоянной тревоге, отчужденность сменялась гнетущей тоской. Книги мне надоели, друзья наскучили. Поскольку делать мне было нечего, я целыми днями шлялся по городу в тисках одиночества, природу которого постичь был не в состоянии. Что-то вкралось между жизнью и мной; я видел, как это «что-то» ускользает, не дается в руки, но удержать его не пытался — пускай себе! Даже находясь на дне глубокой пропасти, я испытывал полнейшее безразличие. Миром правил абсурд.

После долгой прогулки я вышел к небольшому скверу на улице Сен-Дени, неподалеку от Ле Заль, центрального рынка. Был, должно быть, первый час ночи. По деревьям пробежал горячий ветер. По углам сквера стояли на своем боевом посту четыре женщины. Время от времени они сходились обмениваться шутками или советами, а затем с настороженным видом расходились вновь. Для привлечения клиентов они использовали в высшей степени эффектив-

ную тактику, действуя на манер ночного дозора, что постоянно стремится войти с противником в соприкосновение.

Из темноты возник мужчина, приблизился к одной из женщин, но после короткого обмена репликами отрицательно покачал головой и отошел. Еще через несколько секунд он исчез за углом. Последний клиент. Ночь сгущалась, город спал. «Ну и жизнь!» — вздохнула одна из четырех.

Только через час, заметив сидевшего на скамейке студента, они атаковали его с четырех сторон одновременно и окружили плотным кольцом.

— Как насчет этого дела? — поинтересовалась у меня рыжая.

— Нет, не сегодня. — Прежде чем услышать свой собственный голос, я долгое время пристально на нее смотрел.

— Почему ж не сегодня? — обязательно хотела знать ее низкорослая, полная компаньонка.

— Здесь хочу посидеть.

— А, понятно, этот негодник предпочитает любить глазами, — подала голос третья.

Они рассмеялись. Я промолчал. Смех у них был какой-то похабный, гнусный. Их разинутые рты напоминали трещины, что появляются и незаметно растут в покосившихся домах, которых так много в этом районе Парижа. Обратиться в бегство? Успею. Что мне их приставания? Я ведь, по сути, находился не здесь, я нигде не находился.

— Ждешь, что ли, кого? — хмыкнула рыжая.

— Да, жду.

— Она заставляет себя ждать — не очень-то это красиво.

— Он не красив. И любит заставлять людей ждать. Да и мне ждать его — одно удовольствие.

— Давай подождем вместе, — предложила рыжая, говоря от имени всех. — Это ведь наша работа. Ради тебя мы на все готовы.

— Нет, благодарю. Лучше я подожду один.

— А тебе не кажется, что ему будет приятно обнаружить рядом с тобой нас?

— Нет, не кажется.

— Послушай, ты говоришь за себя или за него?

— За нас обоих. Он любит уединение, я знаю. И тишину.

— В таком случае назови нам его имя. А вдруг мы его знаем? Ты даже не представляешь, сколько народу мы знаем. Верно я говорю, девочки? Поделись с нами, как он выглядит, богат ли, остроумен, расскажи про его пороки и привычки. Может, он окажется интересным клиентом.

Я пожал плечами и ничего не ответил. Продолжать эту бессмысленную игру не было настроения.

— Господи, — не унималась рыжая, — какой же он все-таки грубый! Мы тут печемся о его здоровье, а он даже не отвечает! Мог хотя бы сказать нам, кого он ждет. Мы же не кусаемся.

— Кое-кого, — ответил я сквозь зубы.

И тут они принялись меня высмеивать. В любое другое время я бы попытался скрыться, чтобы очиститься, снять с себя скверну. В любое другое время, но не сейчас. Я был спокоен, равнодушен: провоцировали ведь они не меня.

Но вот ко мне обратилась четвертая женщина, до сих пор она хранила молчание:

— А если б я тебе сказала, что человек, которого ты ждешь, — это я? — Слова эти она произнесла так тихо, что остальные, по-видимому, не расслышали.

Длинные волосы спадают на голую спину. Взгляд холодный, задумчивый. Сильный запах алкоголя. Теперь настала моя очередь смеяться. Так вот кого я искал столько лет! Потерявшую стыд женщину, которая продает себя, а не отдается. Для которой быть и иметь — одно и то же. Женщину, вступающую в интимную связь с мужчинами, которых ненавидит. Подумать только, ведь в детстве я воображал, что повстречаю это божество, лишь поднявшись в поднебесье или оказавшись в плену самой безудержной фантазии. Ее подруги смотрели на меня с изумлением. Я смеялся, но не узнавал ни своего смеха, ни голоса.

— Ну? — буркнула женщина с длинными волосами.

— Ладно, Барбара, сдался он тебе. — Подруги потянули ее за руку. Для них спектакль уже закончился.

— Отвяжитесь, — огрызнулась Барбара.
— Ты что, спятила? Не видишь, бедолага без гроша за душой.

— Сказала, отвяжитесь.

— Ты сегодня перепила! В этом все дело.

И с этими словами три грации скрылись в ночи.

— Они правы, — сказал я, помолчав. — В карманах у меня шаром покати.

— Наплевать, — отозвалась Барбара ледяным голосом. — Ты мне нравишься.

Она провела пальцем по моей щеке и добавила уже мягче, ласковее:

— Нравишься, а это главное. Давай забудем обо всем остальном. Пойдем со мной.

— Куда?

— Ко мне. Это недалеко. Там нам будет уютнее. Пошли.

— Нет, спасибо.

— Боишься? Робеешь? Хочешь, чтобы мы пошли к тебе?

— Я не боюсь и не хочу никуда идти.

Она нахмурилась и бросила на меня тяжелый взгляд:

— Ты что, еврей?

— Да, еврей, — ответил я, несколько не удивившись ее вопросу. — Как вы догадались?

— По акценту, по голосу, по тому, как ты сказал «нет».

— Еврей, поэтому ничего и не боюсь. Весь страх остался в прошлом.

Барбара села на скамейку рядом со мной, не сводя с меня глаз. В темноте ее размалеванное лицо выглядело устрашающе: все унижения тела и души написаны были на нем во всех подробностях.

— Любовью заниматься любишь? — равнодушным голосом спросила она.

— Смотря с кем.

— Со мной. Хочешь заниматься со мной любовью?

— Не знаю.

— Хочешь узнать?

— Нет, спасибо.

— Почему нет?

Я промолчал. Ее вопрос был обращен не ко мне, а потому отвечать на него необходимости не было. Она взяла меня за руку. Я руку отнял.

— Я тебе противна, да?

— Нет. Вовсе нет. Просто мне жарко.

— Мне тоже. А вот я себе иногда противна.

Я хотел было сказать что-нибудь ей в утешение, но не нашелся.

— Давайте поговорим, — сказал я.

— О чем?

— О вас.

Она попросила говорить ей «ты».

— Так все мужчины говорят, — пояснила она. Впервые нашелся человек, который причислил меня к категории мужчин.

— Ладно, — согласился я. — Но давай поговорим о тебе.

— А что ты хочешь от меня услышать? — В ее голосе прозвучало раздражение. — О себе я говорить не люблю. Когда мужчины раздеваются, они всегда выясняют, что я собой представляю. Им важно знать, на кого они имеют честь и удовольствие плевать. Я им не отвечаю. А если и отвечаю, то вру. Правда ведь у меня грязная. Вот и приходится сочинять. Приукрашивать. Воображение у меня богатое. Понял?

— Понял.

На самом деле я ничего не понял — просто не хотелось ее обижать. Я ведь даже ее не слушал. Было слишком жарко. Я вынул носовой платок и вытер лицо. Она сделала то же самое.

— Я тебе надоела?

— Ничуть.

— Если надоела, скажи.

— Совсем нет. Просто очень жарко.

— На чем я остановилась?

— Что не говоришь им правду.

— А, да. Так вот, мужчины хотят знать все, абсолютно все. Я им и подыгрываю: выдумываю всевозможные истории, одна другой слезливее. Эти недоумки обожают, когда с ними откровенничают. В каждом мужчине есть священник, видящий во всех женщинах несчастную шлюху, заблудшую овечку, которую следует спасти, утешить и вернуть в стадо. Сам-то он от своего благородства в восторге; еще бы, ведь он Богом (или самим собой) послан защитить вдов и сирот. Для этого мужчины и приходят: не для того, чтобы заниматься любовью, — хотя и для этого тоже, — а чтобы продемонстрировать нам свою дешевую жалость и расположение. «Ах, моя крошка, ребенком ты так страдала, вот тебе еще сто франков. Это — подарок. Вот видишь, я — человек широкий. Но за это, милашка, ты будешь со мной ласкова, обещаешь?» Я беру деньги, говорю: «Большое вам спасибо, мсье, очень вам благодарна, святой отец, вы так добры, сердце у вас из чистого золота, душа святого, идите ко мне, ложитесь на меня, я отдаюсь вам, можете делать со мной все, что пожелаете, извлекайте из меня столько удовольствия, сколько захотите, сколько сможете, я — машина для удовольствия, не беспокойтесь, обслужу в лучшем виде, всех священников и святых обслужу, сколько бы их ни было. Вот что я им говорю, когда шучу, плачу или бью их — кому что нравится; одни любят мои слезы, других возбуждает только мой гнев. Понял? Больше ста франков я не стою.

Она замолчала, облизнула губы и сказала:

— А ты? Чего хочешь ты?

— Понятия не имею.

— Что ты от меня хочешь?

— Ничего, пожалуй.

— Ты хочешь, как все мужчины, чтобы я говорила про себя правду?

— Это дело твое. Но я должен снова тебя предупредить: у меня нет ни одного су.

Тут она опять судорожно схватила меня за руку, и на этот раз я свою руку не убрал. От ее прикосновения я

вздрыгнул — впервые за этот вечер. Я словно бы обрел вновь свое собственное тело.

— Ты мне нравишься, — продолжала она, отпуская мою руку. — Нравишься, потому что молод и беден. Потому что ты еврей и ничего не боишься. А еще потому, что я тебя не понимаю.

Она отступила на шаг, словно хотела лучше меня рассмотреть.

— Знаю я, о чем ты думаешь. Думаешь, что я пьяна.

— Неправда. Ни о чем я не думаю.

— Не спорь. Прошу тебя. Ты ни о чем не думаешь, но считаешь, что я пьяна. Одно не исключает другого. Да, так оно и есть. Я пила. Немного. Самую малость — с тремя расщедрившимися клиентами. Я предложила, чтобы они пригласили моих подруг — пусть повеселятся с нами, но у них эта идея поддержки не нашла. «Сама справишься, — говорят, — не маленькая». Мы пили, и не только пили. Они остались довольны, о чем мне и сказали. Одну бутылку я припрятала, но после их ухода к ней даже не прикоснулась, клянусь, разве что глоток-другой сделала. Не люблю пьянствовать — в одиночестве, во всяком случае. У меня голова кружится, когда я одна пью. Сейчас вот тоже кругом идет. Видишь, как кружится?

И она завертела головой с таким неистовством, что испытал головокружение и я.

— Действительно, кружится, — подтвердил я.

— Вот видишь? Я знаю, что говорю. Может, я и бессвязно выражаюсь, но что хочу сказать, знаю. Если тебе это непонятно, то только потому, что ты еврей. Слушаешь-то ты хорошо — но не понимаешь.

Она прикрыла рукой рот, словно испугавшись, что сказала лишнее:

— Я тебя не обидела? Нет? Хорошо. Все равно извини. Прости, пожалуйста. Ты все понимаешь, я знаю. Беру свои слова назад: ты — еврей, а потому все понимаешь. Это я тебя не понимаю. Когда я тебя увидела сидящим на этой скамейке, в ночи... Да, не смотри на меня так, именно в ночи.

В ночи можно сидеть, и лежать можно тоже, и жить... Стоило мне тебя увидеть, как я сразу сообразила: ты из тех, кто понимает, из тех, кого я понять не могу. Тебе понравилось то, что я сейчас сказала, а? Ты ведь молод, а молодые любят, когда им говорят такое. Ладно, доставлю тебе удовольствие: я торжественно заявляю, что не понимаю тебя. Ну что, доволен? Я-то довольна. Мне так хочется ничего не понимать. Но такое случается редко. Большею частью я все схватываю на лету. А ты как думал? За это мне и платят. Кто-кто, а я мужчин досконально изучила, знаю их как облупленных. «Давай, дружок, — думаю про себя, — делай свое дело. Я ведь лучше тебя знаю, что тебе надо». Ха, они думают, что, овладев моим телом и вызвав у меня отвращение, они овладели мной. На самом деле я непогрешима, я вижу их насквозь — и плюю на них.

Барбара рассказывала мне о своей жизни, а я думал о своей, о человеческом существовании, которое можно извратить, возвысить или унижить одним-единственным жестом, одним-единственным событием.

Одно сказанное, неверно сказанное или недосказанное слово, опоздание на поезд, поданная или неподанная рука — и жизнь уже не та, какой могла быть. Свобода? Фарс. Будущее — не более чем результат прошлого, которое нам недоступно; мы не в состоянии к нему прикоснуться, ибо оно становится божеством, созданным нами и против нас. Что сделано, то сделано, мы не можем вернуться назад, не можем изменить сделанный нами выбор. Поэтому «да» или «нет», любое «да» и любое «нет», обращено в будущее. В этом главное недоразумение, высшая несправедливость человеческого существования: мы принимаем и отказываемся принять ситуации, суть которых выявится позже, когда изменить их будет уже невозможно.

Барбара задумалась. Надо было что-то сказать.

— А ты неразговорчив. Ты хоть меня слушал? — спросила она наконец, неверно истолковав мое молчание.

— Евреи умеют слушать, — напомнил я ей.

— Я тоже слушать люблю.

— Мне сказать нечего.

— Нечего? Я только что рассказала тебе идиотскую историю под названием «Моя жизнь» — и тебе нечего сказать?!

— Нечего.

— Ладно. Как хочешь. Знаешь, сделай мне одолжение.

— Какое?

— Забудь все, что я тебе говорила. Немедленно. Я тоже забуду. Обещаешь?

— Конечно. Обещаю.

Барбара попыталась меня поцеловать, но я легонько ее оттолкнул.

— Ужасно жарко, — сказал я.

Она вынула носовой платок и вытерла мне лицо.

— Почему ты со мной не разговариваешь? Боишься, я не пойму? Да? Но ведь я и не стремлюсь понимать. Рассказывай все что хочешь — лишь бы я ничего не понимала. Так хочется в этой проклятой жизни хотя бы раз ничего не понять!

В душном воздухе витала печаль. Барбара придвинулась ко мне почти вплотную, и на этот раз я ее оттолкнул. Ее губы коснулись моей щеки. Пускай. От нее по-прежнему несло виски. Подумать только, я впервые заговорил о любви с женщиной, и женщина эта — шлюха, пьяная шлюха, которой нравятся евреи, потому что она их не понимает! Да я и сам себя не понимал.

— Ты грустишь. Я знаю, когда мужчина грустит. Давай займемся любовью. Поверь, когда на душе кошки скребут, нет лучше средства. Как ты думаешь, отчего мужчину одолевает грусть? Чтобы женщины вроде меня не умерли с голоду.

Я наблюдал за собой словно бы со стороны, глазами ребенка и думал: на этот раз тебе не отвязаться.

— Ну? Пошли? Ни говорить, ни слушать тебе не придется, не бойся.

Я вскочил со скамейки.

— Нет, спасибо. Не хочу.

Я врал и говорил правду одновременно. Я хотел ее и боялся, что она может это почувствовать.

— Действительно не хочешь? Ты даже не представляешь, чего ты лишился.

Забрезжил сероватый рассвет. Город вступил в последний бой со стаей воронов (а может, стервятников?), загоня их за горизонт. Скоро наступит день.

Я посмотрел на Барбару и протянул ей руку.

— Мне пора, — сказал я, скрывая волнение. — Счастливого.

После минутного колебания она крепко стиснула мне руку:

— Прощай, еврейчик. Куда ты сейчас? Обрато к своей женщине? К подружке?

— Нет у меня никакой подружки.

— К родителям?

— Может быть.

Прошло несколько секунд.

— Они умерли, — сказал я после паузы.

По ее лицу пробежала улыбка.

— Вот теперь я тебя и в самом деле не понимаю. Спасибо тебе за это.

Мы пошли каждый в свою сторону; я — с опущенной головой, она — с высоко поднятой. Не успел я пройти и нескольких шагов, как до меня вновь донесся ее голос:

— Забыла сказать тебе что-то очень важное. У меня не может быть детей! Слышишь? Никогда! Никогда! Это важней, чем все, что я тебе рассказывала.

— А что ты мне рассказывала? Что?

Я пожал плечами и пошел своей дорогой сквозь утренний туман. Пьяная шлюха, вот кто она такая, эта Барбара. Барбара? Разве ее звали Барбара? Может, и нет. Мари, Сюзанна, Элизабет, Бланш, Эмма, Марсель. Только не Барбара. Это имя она позаимствовала, чтобы потом сказать себе: «Уличная девка не я, а Барбара». С кем же я тогда разговаривал?

В дальнейшем я старался обходить этот район стороной. Но вот, однажды вечером, я испытал желание увидеть Барбару вновь. Сидя на скамейке в скверике возле Ле Заль, я долго ее высматривал, однако Барбара так и не появилась: то ли ночь, то ли ее собственная, так и не рассказанная история ее поглотили.

Ее место на улице заняла другая девушка. Она подошла ко мне и спросила:

— Кого-то ищешь?

— Да, — ответил я. — Кого-то.

— Кого же?

Я помолчал, а затем повторил:

— Кого-то. — И добавил: — Пророка.

— Бедный, бедный мальчик. Посмотри внимательно: вон он, пророк твой. Но он занят. Занимается любовью.

КОНЕЦ РЕВОЛЮЦИОНЕРА

1

Все это где-то очень далеко: шумные улицы, толпы смеющихся людей, витрины и полицейские. Много шума. Из ничего. Бессмысленные выкрики, голоса. И ругань. Просто так.

А я-то собирался обрести здесь покой, сказал себе посторонний. Ему было не столько горько, сколько забавно.

Он сидел на открытой террасе придорожного кафе, под навесом и лениво наблюдал за проезжавшими мимо машинами и переходившими улицу пешеходами. И все-таки хорошо, что я приехал, думал он, здесь мне будет спокойно.

Еще три дня назад он был на родине. У себя дома, с женщиной — нежной и грустной. И с сослуживцами: одни испытывали к нему дружеские чувства, другие — зависть. Улыбки, лесть, полуправда. Всегда одни и те же вопросы, одни и те же ответы. Те же заботы, те же отговорки. И вдруг ему захотелось все это бросить. Не говоря ни слова. Уехать. На несколько дней. Или лет. И вздохнуть. И помолчать — наконец-то помолчать. Он вскочил в такси. В аэропорт. На первый же отлетающий самолет. Куда угодно. Не смотрите на меня так. Пожалуйста. Да, заплачу. Наличными. Говорю же, куда угодно. Успеть бы.

Я правильно сделал, что приехал, подумал он. Здесь я тоже чужой. Но по-другому.

2

Проходили часы. Времени он не замечал. Раньше время повергало его в тоску. У него было чувство времени? Еще какое — жизнь была расписана по минутам. Теперь с этим по-

кончено. Он жил вне времени. Ни часов на стене, ни обязательств. Нет нужды притворяться, что занят, что развлекаешься, что тебе интересно, что взволнован. Теперь он будет вставать и ложиться, когда ему заблагорассудится. Никто его не спросит: где ты был? Или: кого ты видел? Или: почему так поздно? Теперь некому заставлять его забывать или помнить. Он останется наедине с самим собой, и когда опустятся сумерки, и когда рассветет. И это будет одиночество не сидящего в камере заключенного, не беглеца, петляющего по лесу.

А как же родной дом? Его он забудет. Работа? Плевать на работу. А женщина? Чтобы не думать о ней, он принялся изучать лица вокруг. Любовная парочка — отрезана от внешнего мира. Перешептываются, как злоумышленники. Мужчина с озадаченным видом теребит усики. Женщина. Что ее так взволновало? Стоп, взглянем на нее еще раз. Молодая: лет двадцать пять, может, старше. Черные волосы, глаза горят, чувственные, упрямые губы. Вероятно, кого-то ждет — мужа, быть может, любовника. Нетерпелива, озабочена; да, озабочена. Уже раз десять, не меньше, украдкой бросала взгляд на часы. Порывается встать, потом садится снова. На его улыбки упорно не отвечает. Он наклоняется к ней и спрашивает, который час; она делает вид, что не слышит.

Я не в обиде. В конце концов, это ведь ее право. Она мне ничем не обязана. В любом случае она отвлекает меня от моих мыслей. Разве этого не достаточно?

3

Теперь она сама смотрит на него во все глаза. Открыто. Без ложной скромности. Улыбнулась и наконец нарушила молчание:

- Вы ведь не здешний, верно?
- Верно. А вот вы живете здесь.
- Не угадали.

- Вы кого-то ждете?
- Разумеется. Вас.
- Простите, что заставил ждать.

Она засмеялась каким-то странным смехом: лицо ее не улыбалось, глаза — тоже. Веселым был только голос.

— Пожалуйста, простите мне мое дурное воспитание, — сказал он. — Я не представился.

- Не беспокойтесь. Терпеть не могу имен.
- Почему?

— Имена ничего не значат, они иррациональны и фальшивы. В этом их беда. А вас имена разве не раздражают?

— Простите. — Он улыбнулся и покраснел. — Сейчас слишком жарко для бесед на отвлеченные темы. Может, поговорим об этом позже? За обедом?

Глаза у нее повеселели:

— В этом городе философия и пицца сочетаются плохо. Как бы то ни было, благодарю за приглашение. А теперь мне пора идти. У меня свидание. Не с вами.

— Он тоже безымянный?

— Возможно. Нет, на вас он не похож. У вас лицо, а у него маска.

Они оба встали.

— Можно я пойду с вами?

— Лучше не стоит.

— Он ревнив, да?

Она помолчала, а затем сказала:

— А впрочем, почему бы и нет? Пошли.

И она передала ему небольшой чемоданчик, который оказался довольно тяжелым.

4

Некоторое время они шли молча. Свернули с центральных улиц и зашагали по пустынному переулку в направлении черневшего вдали мрачного здания.

— Что там такое? — спросил посторонний.

— Государственное учреждение. От этого дома надо держаться подальше. — И, помолчав, добавила: — Жители нашего города стараются обходить его стороной.

— Почему?

— Внутри находятся палачи или жертвы: сотрудники политического сыска или политические заключенные. Попасть в число первых либо вторых вам ведь вряд ли хочется?

Они сделали еще несколько шагов.

— А теперь мы должны расстаться. — Молодая женщина остановилась. — Где вы живете?

— В отеле «Эксельсиор».

— Номер?

— Четыреста восемьдесят третий.

— Запомню... на всякий случай.

— Я вас еще увижу?

— Как знать.

Он решил было настоять на встрече, но она его опередила:

— Ступайте домой. — В ее голосе слышалось нетерпение.

— Хорошо. Буду ждать вас... на всякий случай.

Он вернул ей чемоданчик.

5

Посторонний вернулся в отель, спустился на улицу съесть сэндвич, несколько раз обошел центральную площадь и отправился спать.

Вскоре после полуночи его разбудил мощный взрыв. Он подбежал к окну, но ничего не увидел. Спустя мгновение раздался пушечный залп, а затем, захлебываясь, застучал пулемет. И вновь наступила тишина — еще более непроницаемая, чем раньше.

Что ж, подумал посторонний, пойду спать. Пусть себе стреляют друг в друга. Меня это не касается. Завтра выяс-

ню, что произошло. Спешить некуда. Страна не моя, и случившееся не имеет ко мне никакого отношения. Я не знаю ни тех, кто стрелял, ни тех, в кого стреляли. Я здесь по чистой случайности — мог ведь быть совсем в другом месте.

К примеру, с той женщиной, которая осталась дома. И постоянно задавала бы одни и те же бессмысленные вопросы: «О чем ты думаешь? Где ты? Почему меня игнорируешь?»

На что он бы отвечал: «Да ни о чем таком я не думаю. Правда».

Разговор продолжался бы в том же духе:

— Я тебе не верю.

— Это-то и плохо. Даже когда ты верила в меня, ты не верила мне.

— Сам виноват. Ты совершенно перестал со мной разговаривать.

— А о чем я, по-твоему, должен с тобой говорить?

— Почему ты перестал со мной разговаривать?

Засыпая, он громко стонал.

6

Коридорный принес ему завтрак.

— Вы взрыв слышали? — спросил он срывающимся от волнения голосом.

— Слышал. Что это было?

— Бомба.

— Где?

— Недалеко отсюда. В Управлении тайной полиции. Разрушены два этажа. Убит полковник и его адъютант — их пристрелили, как бешеных собак. Девять человек ранены. Это революция, понимаете?! С диктатурой, коррупцией, страхом, пытками покончено навсегда! Прогнивший режим пал! Навски! Революция победила!

— Рад за вас.

— И вам больше нечего сказать?

— А что вы ожидали? Я ведь иностранец. Не знаю даже, кто находится у власти и кто на эту власть претендует. Хотите знать правду? Мне все это совершенно безразлично.

— Как вы можете так говорить? Откуда такое равнодушие? Этой ночью одни были убиты, другие стали героями — и вас это не касается? Вам это даже неинтересно?

— Повторяю, молодой человек, происходящее в этой стране — не моего ума дело. Я остаюсь в стороне. Хотите в игрушки играть? Прекрасно, но играйте без меня.

— Я вам не верю, не может быть, чтобы вы и в самом деле были таким бесчувственным... Нет человека...

— Послушайте, молодой человек. Если из-за ваших революций я не могу спокойно позавтракать, мне придется пересмотреть... — Посторонний попробовал кофе и скорчил гримасу. — Он едва теплый! Какой ужас! Я люблю, чтобы кофе был, как кипяток. И кто же в этом виноват, молодой человек? Прогнивший режим или революция?

Коридорный не выдержал и бросился вон из номера, даже не попросив прощения за простывший кофе.

7

Стук в дверь посторонний услышал не сразу, так как брился электрической бритвой. Выключив бритву, он открыл дверь. На пороге стояли двое.

— Вы что, оглохли?! — закричали они.

— Простите, но...

— Извиняться потом будете. Пройдемте.

— Вы, должно быть, спятили.

— Пройдемте.

— Кто вы?

— Полиция.

— Что вам надо?

— Пожалуйста, следуйте за нами.

— Но что я сделал?

— Ответы на ваши вопросы получите потом. Мы выполняем приказ. Одевайтесь. Пожалуйста.

Посторонний на глазах терял присутствие духа.

— Но ведь я ничего не сделал! Я только что приехал! Вы меня наверняка с кем-то спутали! Я — иностранец! Я требую вызвать консула! Я свои права знаю!

Но полицейские не потрудились даже вступить с ним в диалог.

— Не волнуйтесь и не качайте права — вам это не поможет. Ваши фокусы вам только повредят.

Спорить смысла не имело. Изобразив полное равнодушие, он взял пиджак, бумажник, носовой платок и сказал, что готов. Вещи? Обойдется без них. Своим имуществом он не дорожил. Путешествуя, он всегда раздавал свои вещи чужим людям и домой возвращался с пустыми руками.

Полицейские вывели его из отеля и затолкали в неприметный черный автомобиль, стоявший в нескольких шагах от входа, на углу.

Хорошо, что я взял с собой носовой платок, подумал он, вытирая лицо. День обещал быть очень жарким.

8

И все же страха он не испытывал. Случившееся было неприятно, необъяснимо — не более того. Что все это значит? Они хотят посадить его за решетку, судить и, может, даже казнить. По ошибке. В этих странах все возможно. Интересно, за кого они меня принимают? Что ж, скоро все выяснится.

Нет, страшно ему не было. Скорее, забавно. Наконец что-то со мной произойдет, думал он. Поздновато? Нет, последний день, последний час значат больше, чем все остальные дни и часы.

Жизнь в последнее время стала скучной, однообразной, напоминала бег на месте. Неожиданности и разочарования, радости и печали, бедность или любовь его не касались, об-

ходили стороной. Впав в апатию, он плыл по течению. Дни были, как две капли воды, похожи один на другой, ночи сделались длиннее. Его стали мучить кошмары. Все уже было сказано, пережито; он испил чашу до дна. Никогда уже не испытать ему вновь восторг творения, отчаянье неудачи. Радость новых встреч. Даже смерть не станет чем-то новым — пусть приходит. Здесь или в каком-нибудь другом месте, сейчас или позже — ему было безразлично. Уже много лет он был мертв, сам того не подозревая. Теперь же его смерть станет непреложным фактом, частью реального — и абсурдного — мира. По существу, он должен радоваться, что умрет. Что будет отдан смерти ни за что, по чистой случайности, вместо кого-то другого. Смерть, конец, к которому он не стремился и от которого не бежал, должна его устраивать. Коль скоро его существование лишено смысла, почему должна иметь смысл смерть?

Вот какие мысли роились у него в голове, пока его везли к той самой молодой женщине, с которой он познакомился накануне.

9

Кабинет, где она его поджидала, принадлежал бывшему городскому голове. В дверях по стойке «смирно» стояли три вооруженных охранника.

— Рада видеть вас снова, — сказала молодая женщина с усталой улыбкой.

— Я тоже. — Он попытался скрыть свое удивление. — Скажите, это вы послали за мной полицию?

— Естественно.

— Ну и ну. Вы что, всегда так поступаете, когда хотите кого-то увидеть? Поздравляю.

— Если полицейские обошлись с вами грубо, примите мои извинения.

— Можете не извиняться. Полиция везде одинакова. Мне, правда, кажется, что ради встречи со мной подымать восстание было вовсе не обязательно.

— Революции делаются не отдельными людьми ради отдельных людей, а для всего народа, — заметила она без тени улыбки. — И наша революция — не исключение. Простите, я забыла сообщить шефу полиции, что вы внесли свою лепту.

— Лепту? Во что?

— В события прошлой ночи. Вы — не арестованный, вы — наш почетный гость. Больше того, наш герой.

— Жаль, что вы говорите от имени своих соотечественников, а не от своего собственного. Быть вашим героем я был бы счастлив. Их героем — никогда.

— Ваша скромность делает вам честь. Тем не менее факт остается фактом: о вашей отваге известно сегодня всем. Знаете, что было в чемодане, который вы помогли мне нести? Бомба, мощная бомба, которая должна была уничтожить Управление тайной полиции. С вашей помощью мне удалось беспрепятственно миновать несколько контрольно-пропускных пунктов. Благодаря вам операция прошла успешно. Вот почему...

Она замолчала и сделала знак одному из своих помощников, который протянул ей коробочку. Открыв ее, она продолжала:

— От имени Движения за национальное освобождение имею честь вручить вам первую медаль за революционный героизм.

Словно во сне, он видел, как со смущенной улыбкой на лице протягивает руку и берет коробочку.

— Вы с ума сошли. Я ведь не знаю даже вашего имени, а вы — моего.

— Это дело поправимое, уверяю вас, — обронила она. — Купите на обратном пути газету, и вы увидите, что нас с вами знает вся страна.

Затем она выразила сожаление, что из-за срочных дел вынуждена с ним расстаться, проводила его до двери и на прощанье шепнула:

— Не сердитесь. Нам очень нужен герой-иностранец. Пусть наши враги знают, что у нас есть друзья за границей.

— Спасибо, что вспомнили про меня.

— Я вижу, вы сердитесь. Простите.

— Ерунда. — Он посмотрел на нее и улыбнулся. — Я не сержусь, честное слово. Да и потом, какая разница?

Разницы и в самом деле не было никакой.

10

В отеле его уже поджидала толпа газетчиков, местных и иностранных. Они обрушили на него тысячи провокационных вопросов, от ответа на которые он увиливал с тактом искусного дипломата. Ему под нос сунули несколько микрофонов, и национальный герой вынужден был придумывать на ходу высказывания, которые делают все герои всех революций на всех языках, прославляя одних и тех же вождей и провозглашая одни и те же лозунги. В конечном счете задача эта была не из трудных.

После пресс-конференции к нему подошел, густо краснея, тот самый коридорный. «Мне и невдомек было... Не догадался, кто вы... Какой же я болван... Нет мне прощения».

Несколько дней (а может, недель) за национальным героем, стоило ему выйти из отеля, охотились собиратели автографов. Женщины ему улыбались, мужчины с уважением приветствовали. Слава, однако, не произвела на него никакого действия. Ему от нее стало не лучше и не хуже. Каждый день его приглашали на всевозможные празднования и политические митинги, которые вскоре перемешались в его сознании.

Несколько раз он собирался было покинуть эту крошечную республику и вернуться к себе на родину, в свой род-

ной город. Раз мне не удастся преодолеть апатию, рассуждал он, я могу с тем же успехом жить дома, в привычной обстановке. Но всякий раз он медлил с отъездом. Ему почему-то казалось, что его приключение еще не закончено, что оно будет иметь продолжение. Именно эту непредсказуемость он любил и искал в жизни — ничего больше, в сущности, он не любил. Иногда, впрочем, надоедала ему и непредсказуемость.

11

И вот как-то под утро ему приснился кошмарный сон. Ему снилось, будто раздался стук в дверь, за ним пришли. Опять? Да, опять. Все происходило точно так же, как и в прошлый раз: внизу, на улице, на том же самом углу стояла та же самая неприметная черная машина, которая подъехала к тому же самому зданию. Его провели в тот же самый кабинет, и он столкнулся лицом к лицу с той же самой женщиной. Лицо изможденное, седые, спутанные волосы, руки связаны за спиной. Из рта струится кровь, в глазах пустота.

— Вы обвиняетесь в революционной деятельности, направленной против правительства и всего народа, — раздался заунывный голос высокого и невозмутимого офицера. — Признаете ли вы себя виновным?

— Нет, — машинально ответил посторонний.

— Тем хуже для вас. У нас есть свидетели. Взгляните на эту женщину. Вы знаете ее, она знает вас. И она во всем призналась. Вы были ее сообщником. Сообщник изменницы — вот вы кто.

— Нет, — сказал посторонний. — Никакой я не сообщник. Я никто и ничто.

— Очень хорошо, — сказал офицер. — В таком случае свидетельница повторит свои показания.

Молодая женщина вынуждена была подчиниться:

— Да, он был моим сообщником. Да, мы совместно осуществили вооруженное нападение. Да, он знал, что в чемодане находится бомба. — Она пристально посмотрела на него и прошептала: — Перестань отрицать очевидное, товарищ. К чему обрекать себя на пытки? Они знают все. Революция — твоя и моя — подавлена, и нам приходится платить: игра есть игра. А потому послушайся моего совета, признайся во всем.

Ему снилось, будто он хотел крикнуть, что она лишилась рассудка, что он невиновен — в этом преступлении, во всяком случае, — но ситуация была столь абсурдна, что он решил не унижаться. Поэтому вместо того, чтобы протестовать, он сначала тихо, а потом все громче и громче начал смеяться.

Офицер, разинув от удивления рот, молча взирал на него. Затем вызвал охрану и приказал молодую женщину увести. Когда ее вели мимо постороннего, она прошептала:

— Прости, товарищ, но нашему движению нужны мученики, особенно невинные мученики.

Она вышла из комнаты. Посторонний проводил ее глазами. Какой странный сон, подумал он. Какая странная жизнь. Можно смеяться и умирать одновременно.

СМЕРТЬ МОЕГО УЧИТЕЛЯ

«...знавший тридцать древних и современных языков, выучивший наизусть Веды и Зогар, он свободно чувствовал себя в любой роли. Вечно грязный, нечесаный, он был похож на бродягу, превратившегося в клоуна, или на клоуна, ставшего бродягой. На макушке огромной, круглой, как кочан, головы он носил крошечную шляпу, всегда одну и ту же; за очками с толстыми, захватанными стеклами не было видно глаз... В течение трех лет, прожитых в Париже, я был его учеником. И под его водительством много чего узнал об опасностях, таящихся в языке и в человеческом разуме, об экстазе мудрости и безумия. От него узнал я и о таинственном развитии мысли сквозь века, а также столь же таинственных сомнениях, сопровождавших развитие мысли. И ничего не узнал о тайне, которая снедала его и одновременно защищала от болезненного человеколюбия».

Вот что я написал, не называя имени, о своем учителе раввине Мордехеае Шушани в «Легендах нашего времени». Сейчас же его имя я раскрываю лишь потому, что его уже нет в живых.

О его смерти я узнал от еще одного писателя, Жана Гальперина, который также считает себя его учеником. О кончине Шушани он сообщил мне без подробностей, так как считал, что я в курсе дела. Но он ошибался. Я знал лишь, что Шушани переехал в Монтевидео, и переезд этот, как все в его жизни, был окутан тайной. Больше я не знал ничего.

Однажды Шушани предложил мне возобновить наши совместные занятия. Время от времени я испытывал сильное желание сесть в первый же вылетающий в Уругвай самолет, чтобы увидеть учителя еще хотя бы раз, сравнить его

с тем образом, который я сохранил в своей памяти. И еще мне хотелось, чтобы он встряхнул меня, подвесил между небом и землей, чтобы я увидел, что их объединяет, а что разъединяет. Но я боялся. «Меня пробирает дрожь, — писал я, — всякий раз когда я вспоминаю, что у себя в Монтевидео он по-прежнему меня ждет, по-прежнему ко мне взывает. Я боюсь раствориться в его легендарной личности, которая обрекает меня на вечные сомнения, а его — на бес-смертие».

Его последние часы описал мне один молодой человек из Монтевидео. Раввин Шушани сидел на лужайке в окружении учеников, с которыми читал Талмуд, как вдруг замолчал на полуслове; спустя мгновение он перестал дышать. У евреев такую смерть принято называть митат нешика (ложе поцелуя): является ангел, по-дружески обнимает избранного и уводит его с собой, не причиняя ему никакой боли.

У него в карманах нашли мои воспоминания о встречах с ним.

Вот почему я знаю — он их читал. Но я никогда не узнаю, что он думал о том образе, который я создал. Ясно одно: себя он узнал.

Узнали его и другие, несмотря на все мои старания этот образ завуалировать. Его ученики, связанные с ним годами — или днями — учебы, не упустили случая сообщить мне, что их провести не удалось. «Вечный жид в вашей книге — это ведь раввин Шушани?»

Мне самому казалось, что я несколько преувеличил — и тем не менее сказал правду. Да, он разъезжал по самым экзотическим странам; да, он и впрямь получал за свои лекции баснословные гонорары, которые потом раздавал на благотворительные цели; да, он действительно вел себя, как тайный праведник, — прежде чем спасти своих соотечественников, он обрекает себя на жизнь на чужбине и на безвестность. Да, он значительнее, чем та легенда, что его окружает.

Знаменитый еврейский прозаик, пишущий на идише, мне рассказывал:

«В начале пятидесятых годов я приехал с лекциями в Бостон. Лекция должна была вот-вот начаться, как вдруг маленький, неопрятный человечек в какой-то нелепой шляпе оттесняет меня от микрофона и надсадно кричит:

— Леди и джентльмены, ваш сегодняшний лектор не имеет никакого права к вам обращаться. Ни к вам, ни к любой другой аудитории.

— Вы что, с ума сошли? Кто вы, собственно, такой? — осадил его председательствующий, пытаюсь перекричать поднявшийся в зале шум.

— Не все ли равно, кто я, — возразил возмутитель спокойствия. — Я-то знаю, кто он. Он — мошенник. Я однажды читал его статью в газете на идише, издававшейся в Париже. Он неверно процитировал Мидраш. Тот, кто неверно цитирует источники, не имеет права выступать на публике.

Я, как и все сидевшие в зале, решил, что он сумасшедший. Верно, я редактировал ежедневную парижскую газету, выходившую на идише после войны. Но это было давно, в конце сороковых годов, статьи с моей подписью выходили не меньше пяти-шести раз в неделю. Мало ли что я там процитировал! А вот он, раввин Шушани, помнил — и заставил вспомнить меня. Прежде чем мне дали в тот вечер слово, я вынужден был принести извинения. Спустя несколько лет я приехал в Монтевидео — тоже с лекциями. Не успел я начать свое выступление, как, к своему ужасу, увидел в зале знакомое лицо и объявил, что не стану говорить до тех пор, пока раввин Шушани не покинет аудиторию. Поскольку тогда в местной еврейской общине он был еще неизвестен, собравшиеся сочли, что я лишился рассудка. Однако, несмотря на все их усилия меня успокоить, я настаивал на своем. В тот вечер лекция так и не состоялась».

Недавно, приехав на выходные в Осло, я встретился с Германом Каганом, другом детства. Мы сидели у него и делились опытом послевоенной жизни.

— Одно время, — вспоминал Герман, — я жил в Париже в ожидании норвежской визы и часто бывал в одной ничем не примечательной синагоге, где встретился с...

Он улыбнулся.

— ... с таинственным персонажем, он владел всеми ключами от всех ворот, и звали его Шушани, — закончил за него я.

— Как ты догадался? — Мой друг был совершенно потрясен.

— У всех, кто с ним встречался, есть что-то общее. Они без труда узнают друг друга. Рассказывай дальше.

— Мы занимались каждый вечер несколько недель подряд. Как-то Шушани признался, что по профессии он торговец золотом. Вскоре после этого он исчез. Впоследствии до меня дошли слухи, что он в Австралии. Тратит деньги, заработанные уроками со мной.

Когда мой друг получил письмо из Австралии от раввина Шушани, тот уже переехал в Израиль, в кибуц.

Когда же я видел его в последний раз? Год назад в Париже. У входа в гостиницу на бульваре Сен-Жермен, где я остановился, я обратил внимание на бродягу; он вел оживленную дискуссию с хорошенькой девушкой, она пыталась всучить ему какую-то печатную продукцию новых левых. Это он, подумал я. Нет, не может быть, он же в Монтевидео; человек, стоящий у входа в гостиницу, только похож на Шушани. И все же сходство было столь велико, что хотелось подойти и спросить напрямую: «Вы раввин Шушани?» А вдруг девушка решит, что я проявляю интерес к ней? — подумал я и стал ходить по улице кругами, пока не вспомнил, что у меня назначена встреча. Вернувшись в гостиницу, я уговорил себя, что это не он.

В тот же вечер в Страсбурге Клод Хеммендингер, издатель «Тгйише Јиіве», словно невзначай заметил:

— Кстати, вам не говорили, что Шушани вновь объявился в Париже?

Выходит, он меня видел. И хотел, чтобы я тоже его увидел и огорчился, что упустил последнюю возможность с ним поговорить. Он хотел, чтобы я и впредь мучился теми же угрызениями совести, предавался тем же ностальгическим воспоминаниям.

Похоронен он в Иерусалиме. Его поклонники и ученики, разбросанные по всему миру, готовы были собрать деньги на перенесение праха Шушани в Священный город. Однако никакой необходимости в этом не было. После его смерти выяснилось, что он богат, богаче, чем многие его последователи.

Среди его вещей были обнаружены рукописи, в которых, может статься, содержались самые важные идеи и взгляды учителя. Увы, расшифровать эти рукописи не удалось никому. Уйдя из жизни, он оставил после себя очередную тайну — последнюю.

Поскольку у меня хранилось несколько его писем, написанных от руки, я решил попробовать эти рукописи расшифровать. Мне передали пару страниц, я несколько раз перечитал их, однако вынужден был эту затею оставить: прочесть его записи я сумел, а вот вникнуть в смысл написанного оказался не в состоянии.

Через несколько месяцев после смерти Шушани я получил письмо от человека, который назвался его ближайшим родственником. «Поскольку раввин Шушани сыграл в Вашей жизни такую большую роль, — говорилось в письме, — и поскольку его с нами больше нет, позвольте мне сообщить Вам о нем всю правду».

И он действительно сообщил мне «всю правду» о Шушани; от него я узнал его имя, родословную, он рассказал мне о его таинственных передвижениях по миру. Тайна была раскрыта.

Но в письме имелся постскрипtum. «Пишу об этом потому, что считаю, что Вы должны все знать. Вместе с тем убедительно прошу оставить эту информацию при себе. О

том, что я написал Вам, не должен знать никто. Ни сейчас, ни в будущем».

Эту просьбу я выполняю только потому, что такова была бы воля и самого раввина Шушани.

И даже если бы все его ученики, где бы они ни были, заговорили о нем, и только о нем, мы все равно не узнали бы, кто он был на самом деле, каких теней боялся и искал и в чем состояла суть его власти над нами и его страданий.

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ. 1948

Пятница. Вторая половина дня. Израиль только что объявил независимость. Потрясенный и измученный мир затаил дыхание: неужели еврейский народ осуществит давнюю мечту, изменит наконец ход истории, свою судьбу?

Я был тогда не имевшим гражданства парижским студентом, однако воевал в Иерусалиме. С тревогой и недоверием я пожирал специальные, выходявшие ежечасно выпуски газет. Больше всего мне хотелось стать участником событий, разворачивавшихся на другом конце света.

С наступлением темноты я отправился в синагогу на субботнюю службу. Хотелось не столько помолиться, сколько вступить в диалог, стать частью общины. Молитва еще не началась. Было уже поздно, однако взволнованные верующие продолжали говорить о политике. Выстоит ли еврейское государство? Выживет ли, несмотря ни на что? Выступят ли великие державы в его защиту — хотя бы для того, чтобы искупить свой грех? Или государство Израиль — это лишь очередная судорога истории? Враг объявил ему священную войну, и шестьсот тысяч евреев без оружия и опыта вступили в неравный бой с шестью армиями одновременно, демонстрируя отчаянную, беспримерную отвагу. Отвагу, которой две тысячи лет.

Жарким спорам не было конца. Мой учитель, старик, знаменитый талмудист, отвел меня в сторону и спросил без обиняков:

- Отныне вы будете верить в чудеса?
- Да.
- И не будете больше отрицать благодетений Бога?
- Нет.

Он пронзил меня своим колючим взглядом, в голосе звучали резкие, обидные нотки:

— Мало же нужно, чтобы вам угодить, молодой человек.

— По-вашему, возрождение суверенного государства, не существовавшего двадцать веков, — это мало?

Учитель никогда еще не был так сердит.

— Вы не понимаете, — сказал он, чеканя каждое слово. — Есть Израиль, а есть ваша реакция на Израиль. Израилю я благодарен, а вот вы меня огорчаете. Ради настоящего и будущего вы готовы забыть прошлое. Вы слишком быстро прощаете.

Я покраснел. Четыре года назад я оставил свой город и свои занятия и вступил в ночь. Вслед за многими евреями из многих городов оккупированной Европы я ушел с именем Мессии на губах, тем самым именем, которое, согласно легенде, предшествовало сотворению мира. Я верил в человека и еще больше — в то, что за ним стояло. И тут все мои связи разом распались. За одну ночь я лишился всякой поддержки, даже самой незначительной. Я столкнулся с пустотой. Повсюду. Чтобы не раствориться в ней, мне нужно было чудо или хотя бы знамение.

— Отказываться от спасения, — кричал мой учитель, — хотя для очень многих оно и в самом деле пришло слишком поздно, я не имею никакого права. Я готов приветствовать его и открыть для него как можно больше дверей и сердец. Да, готов. Но считать его чудодейственным отказываюсь. Мы слишком дорого за него заплатили. Если это чудо, оно должно было произойти немного раньше.

И, стиснув зубы, он начал молиться. А в Израиле тем временем уже лилась кровь.

Я часто вспоминаю этот разговор. Вспоминаю всякий раз, когда бываю на Святой земле, когда слышу о глубинной связи между национальным возрождением Израиля и эпохой Освенцима. Всё восстает во мне против такого сопоставления, особенно когда оно воспринимается не как последовательность чисто хронологическая, а как своеобразная компенса-

ция или же причинно-следственная связь. Лишь для тех, кто пережил и то и другое, эти два явления имеют между собой нечто общее. Отсюда их связь на уровне сознания и эмоций, возможно, даже памяти, но связь эта не историческая. Наметить логическую связь между Освенцимом и Иерусалимом, провести между ними параллель значило бы преуменьшить значение и того, и другого.

Израиль как ответ на Холокост? Такая постановка вопроса слишком удобна и, в сущности, возмутительна. Во-первых, потому, что она накладывает бремя неоправданного чувства вины на наших детей. Изобразить дело так, будто без Освенцима не было бы Израиля, значит переложить часть ответственности за лагеря смерти на еврейское государство. А во-вторых, Израиль не может быть ответом на Холокост еще и потому, что по своей масштабности, да и по сути тоже Холокост опровергает все ответы. Для меня, стало быть, это два совершенно не связанных между собой явления; оба они необъяснимы, необъяснены, загадочны; и то, и другое не укладывается в голове, бросает вызов нашему воображению. Нам никогда не понять, как стал возможен Освенцим. И как у Израиля всего несколько лет спустя достало сил и прозорливости возродить свой дом в мире, брошенном на произвол судьбы и лежащем в руинах.

Разумеется, после Освенцима евреям необходимо было забыть или, по крайней мере, отвлечься. Чтобы перевести дух. Чтобы обрести мужество. Но миру отвлечься было еще важнее. Чтобы забылись его молчание, его соучастие в преступлениях. Чтобы купить себе чистую совесть и таким образом попытаться избежать краха. Иными словами, еврейский народ продолжал бы существовать, даже если для обретения государственности ему пришлось бы ждать еще полвека. А мир — нет. Мир, рухнувший под тяжестью вины, ждать больше не мог.

Давайте разберемся. Если бы сионизм с его притязаниями не существовал, что бы стало с чудом уцелевшими обитателями гетто и узниками лагерей, с партизанами, которые

вышли из леса или спустились с гор? Ведь все они по логике вещей должны были с презрением отвернуться от человечества, навсегда его возненавидеть. Объявленные вне закона, преданные, отринутые и принесенные в жертву обществом, эти мужчины и женщины имели полное право, да и возможности тоже целиком посвятить себя нигилизму, дать волю своему праведному гневу — а там будь что будет. Терять им было нечего, спасать — некого. Ни с родиной, ни с жизнью их ничего больше не связывало. Никаких иллюзий в отношении истории и человека они больше не питали. Им ничего не стоило стать социальными изгоями, даже преступниками. Подожди они всю Европу — никто бы не удивился. Но они этого не сделали.

Они даже не воспользовались возможностью отомстить своим палачам. Повторим в который уж раз: после разгрома Германии оставшиеся в живых не пожелали быть ни мстителями, ни следователями. А ведь, дав волю своему затаенному гневу, они с легкостью могли бы стать и теми и другими. Вместо этого они позволили вовлечь себя в величайшее политическое и мессианское предприятие в Палестине, отдали этому предприятию всю свою энергию, все свои честолюбивые помыслы. Для них создание еврейского государства стало делом всей жизни, они вложили в него всю свою страсть, все силы без остатка. Вот почему сведения счетов не было.

Этим же объясняется почти единодушное сочувствие, проявленное в те годы к вновь созданному еврейскому государству. В каком-то смысле люди были благодарны Израилю за то, что своим возникновением он словно бы отвел от них карающий небесный гром. Касается это и западных стран, и так называемых «народных демократий»: Израиль словно бы приспустил «железный занавес». Сталин и Трумэн оспаривали право первенства в установлении дипломатических отношений с Тель-Авивом. Прага дала Израилю оружие и самолеты. Андрей Громыко, испытанный русский стратег, с готовностью выступил в защиту Израиля. Франция предоставила свободный въезд переселенцам в Израиль

и добровольцам. Общественное мнение было целиком на стороне Израиля. С Израилем связывались большие надежды, страна воспринималась одновременно и как символ, и как доброе знамение. Уважение вызывали сноровка ее фермеров, отвага воинов, решимость покорить пустыню и возвести в ней новый бастион надежды, новый град солнца и воздаяния. Все восхищались тем, как Израиль работает, восторгались его фантазией и первопроходческим духом. Не любить Израиль значило принизить себя самого.

Как же давно все это было! Ныне старые друзья пребывают в нерешительности, все же прочие проявляют враждебность. Сегодня еврейское государство, подобно еврейскому народу на протяжении веков, находится в изоляции и вынуждено постоянно доказывать право на свое существование. Не проходит дня, чтобы его «дело» не проходило проверки жизнью, не подвергалось тяжким испытаниям и сомнениям. Со стороны правых и левых. Со стороны профессиональных поборников нейтралитета и пацифистов всех мастей. Израиль, в отличие от его врагов, подвергается критике за несговорчивость. Его упрекают в одержанных победах, забывая, что им предшествовало и что их спровоцировало. Под предлогом антисюнизма юные немецкие анархисты занимаются активным антисемитизмом. Китайцы, русские и алжирцы тренируют и вооружают арабских террористов, посылают их сеять смерть и на смерть. В среде западных интеллектуалов появляются «революционеры», которые создают романтический ореол вокруг воздушного пиратства и воздушных боев, в результате чего с успехом ведут «партизанскую» войну по радионаведению. Явление удручающее и абсурдное; свидетелями еще большего абсурда мы стали разве что в Польше, где евреев нет, а антисемитизм есть.

Вот почему, не являясь гражданином Израиля, я полностью отождествляю себя с его судьбой. Для меня Израиль в нынешней своей изоляции представляет не ответ, а вопрос, больше того — переоценку ценностей. Израиль не помога-

ет мне понять Холокост; напротив, постигая Израиль, я понимаю Холокост еще меньше, чем раньше.

Вопросительный знак для всего мира, Израиль является также вопросом в отношении своей собственной истории. Этот вопрос я задаю и себе, равно как и вопрос о том, как превратить ненависть, которую вызывает эта страна, в попытку ее интеграции в мировое сообщество. В мировое сообщество, где до сих пор преобладает ненависть. Такой вот парадокс — быть может, в своем роде единственный!

Но для меня, поскольку я принадлежу к поколению, на долю которого выпало куда больше поражений, чем побед, Израиль олицетворяет собой еще и победу над абсурдом и бесчеловечностью.

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ. 1967

Этого следовало ожидать. Мир не простил Израилю его триумфа. Молниеносные победы над четырьмя армиями и двумя десятками стран одержаны излишне быстро и излишне эффектно. Плохо уже то, что победы эти вообще одержаны. Мир озадачен. Победоносный Израиль не вписывается в образ и в судьбу, которые, по мнению некоторых, ему уготованы. Многие предпочли бы видеть его потерпевшим поражение, поставленным на колени. Видеть его жертвой ошибки или несправедливости. Тогда бы можно было его оплакать, произнести над ним надгробную речь, забросать венками, отнестись к нему с состраданием и, возможно, даже с любовью. Еврей, победивший смерть? Мысль непереносимая даже для его так называемых благожелателей. Еврея они готовы любить только на кресте; если же он еще не распят, что ж, этому можно поспособствовать — а потом поднять на пьедестал.

Судя по тем высказываниям, что делают представители некоторых кругов, мир не может простить еврею то разочарование, которое он из-за него испытал, — обещанный Холокост не состоится. Ягненок не пожелал возлечь на жертвенный алтарь. С его стороны это не очень красиво. И те слезы, что готовы были пролиться на его могилу, та жалость, что предназначалась для немногих уцелевших, лишена теперь по его, ягненка, вине всякого смысла. Больше того. В порыве неблагодарности, не довольствуясь тем, что удалось избежать резни, еврей находит способ унижить тех, кто эту резню готовил. Мог же он, в конце концов, повести себя иначе! Одержать победу над своими

противниками, не подвергая их унижению. Не ущемляя их чувств.

Таким образом, те самые люди, которые перед началом военных действий во всеуслышание заявили о неотъемлемом праве Израиля на независимое существование, на выживание, на человеческое и национальное достоинство, теперь брезгливо поворачиваются к нему спиной. Они, видите ли, разочарованы, ибо в своем наступательном порыве Израиль «зашел слишком далеко». Особенно усердствуют те, кто еще вчера готов был — временно, разумеется, — пренебречь своей общеизвестной политической линией, своими политическими и прочими обязательствами и выступить в его защиту. Некоторые, так называемые «либеральные» евреи, стойкие борцы за права угнетенных народов, защитники национальных меньшинств и освободительных движений, ныне раскаиваются, что в минуту страданий и сумятицы подняли голос в защиту своего собственного народа, когда тот был со всех сторон окружен врагами. Вчерашний чистосердечный порыв сегодня вызывает у них чувство стыда.

Оставим в стороне фанатиков — свой выбор они сделали давно. Они выполняют приказы и повторяют то, что им говорят. В этом ничего нового нет. Почему, собственно, это должно нас волновать? Если они желают выступать в роли высших судей истории и человечества — это их дело. Они такие, какие есть, и в их выборе нет для нас ничего удивительного. Как нет ничего удивительного в том, что Израиль они считают агрессором, игнорируя провокации и оправдывая вооруженные вылазки противника, которые и привели к войне. Для их полемистов идеология всегда была важнее, чем истина, машина — насущнее человека. Они были бы довольны, если б Израиль, к вящему удовольствию его врагов, вооружился терпением, только терпением, тем самым послушно исполняя роль жертвы, чтобы не сказать мученика. Израиль в первую очередь думал о себе и о своих жизненных интересах, а не о том, как стать пешкой в чужой иг-

ре, за что ему и приходится теперь платить. Таков естественный порядок вещей. Никто ведь не может, нарушив планы Кремля, рассчитывать, что будет и впредь угождать коммунистам, даже самым наивным.

Поведение некоторых христиан и левых, чья интеллектуальная честность не вызывает подозрений, производит впечатление еще более тягостное. В порыве неуместного гуманизма они выдвигают свой тезис: нельзя, дескать, ставить знак равенства между подстрекательскими призывами какого-нибудь Насера или Шукейры и боевыми действиями Израиля. Открыто признавая, что войну, блокировав Акабу, начали арабы, они, однако, полагают, что победа израильтян служит доказательством того, что вести войну до победного конца Насер вовсе не собирался. «Вы ведь знаете арабов, — скажут они вам, — они как дети: много говорят, непосредственны, вспыльчивы, нужно их простить, да и вообще воспринимать их всерьез не стоит».

В своем чистосердечии эти люди, похоже, забывают, что есть слова, которые убивают или, по крайней мере, напоминают о том времени, когда убивали. Да, есть слова, пользоваться которыми сегодня нельзя: они связаны со слишком тягостными воспоминаниями. Когда евреям угрожают «тотальной войной», кровавой баней, истреблением огнем, относиться к этим угрозам легкомысленно мы не вправе.

То, что эти словесные угрозы опасны и должны восприниматься всерьез, я знал уже много лет; сейчас же, повидав самолеты и танки на Синае, пушки и ракеты, а также солдат, готовых пустить все это в ход в соответствии с планами (их я тоже видел) своего генерального штаба, я знаю это еще лучше. Непосредственная цель? Сбросить евреев обратно в море. Арабские лидеры говорили и писали об этом, и вы никогда не убедите меня, что они имели в виду нечто совсем другое. Поймите, я принадлежу к поколению с повышенной чувствительностью, приученному больше верить угрозам, чем обещаниям. Давно известно, что, когда нам грозит опасность, наши влиятельные друзья и защитники

начинают лицемерно взывать к осторожности и мудрости. К осторожности и мудрости, из-за которых мы оказываемся в еще большей изоляции. История повторяется. Во время Шестидневной войны мы стали тому свидетелями. Изменилось только место действия — механизм же остался прежним. Тень Освенцима легла на Иерусалим. Еврейское государство, зажатое в тисках врагов, не могло рассчитывать ни на одно правительство в мире; ни одна страна не помогла Израилю эти тиски разжать. Политика де Голля в 1967 году ничем не отличалась от политики Рузвельта в 1942-м: из соображений сугубо прагматических судьба евреев не стала решающим фактором ни для французского, ни для американского президента.

Будем откровенны, для нас измена генерала явилась очень сильным потрясением. Прежде всего эмоциональным. Израиль справится со своей задачей и без французского оружия — в крайнем случае купит его у кого-нибудь еще. Слава Богу, торговцев оружием хватает по обе стороны Атлантики. Тяжелее всего предательство Франции воспринимается на уровне человеческом. Ведь многие из нас видели в герое 18 июня 1940 года не только «друга и союзника», на которого можно положиться, но и совесть нации. Что ж, в следующий раз будем дальновиднее.

Разочаровали нас и другие знаменитости — опять же на человеческом, эмоциональном уровне. К примеру, известный писатель, который, взяв на себя роль арбитра, видит в победе Израиля несоответствие его священной миссии. К Израилю у него претензии теологического характера. Ему кажется, что, одерживая победы, Израиль пренебрегает Божьим заветом.

Неужели он и в самом деле считает, что евреи «изгнали Бога из своей земли», которая является также и Его землей? Неужели он всерьез думает, что Святая земля утратила свою святость с тех пор, как евреи вновь на ней осели? Неужели он действительно полагает, что светский и духовный Израиль несовместимы?

Я видел Израиль во время войны и могу дать свидетельские показания в его пользу. В Иерусалиме, в только что отвоеванном Старом городе, я собственными глазами видел, как в первый раз в жизни молятся и рыдают выдавшие виды десантники. Видел, как они в пылу боя, охваченные древним, как мир, единым порывом, целуют камни Стены плача и обнимаются в молчании — многозначительном и целомудренном. Я видел, будто во сне, как они совершают прыжок на две тысячи лет назад, дабы упрочить свою связь с легендой, памятью и таинственной традицией древнего Израиля. И не говорите мне, что ими движет стремление к власти или к богатству. Ими движет духовность, обжигающая близость прошлого. В их опыте есть что-то мистическое. Даже неверующие прониклись сознанием правоты своих действий и тем, как они их впоследствии описывали. В словах, которые они произносили, ощущалась какая-то горячность, и доносились они откуда-то издалека.

Казалось, все они уверовали в чудеса, или просто — уверовали. Их трогательное смирение перед лицом победы, до времени нереальной и в их глазах, и в моих, вселяет в меня такую же гордость за этих людей, как и за нашу победу.

Победу во многих отношениях необычную. Никаких празднований в ее ознаменовании, никаких церемоний. Победа приходила почти не замеченной. Ни военных парадов, ни народного ликования. Завоеватели Синая и освободители Иерусалима, те самые, кто еще совсем недавно держал мир в напряжении, на моих глазах возвращались домой и брались за работу, как будто ничего не произошло. Их мнимое стремление доминировать объяснялось только одним: желанием доказать самим себе, что они чего-то стоят. И они это доказали. Человеческая история еще не знала победителей менее заносчивых, героев более трезвых, мирных и чистых.

То, что их победа вызывает зависть, я понять могу. Но корить их за эту победу несправедливо. Без нее они бы не выжили. И мы тоже.

МОТТА ГУР

Полковник Мордехай Гур (друзья называли его Мотта) бросает на меня пытливый взгляд:

— Нет, я не религиозен... Конечно, нет. С какой бы это стати? А почему ты спрашиваешь?

— Просто так.

Лицо напряженное, брови сдвинуты, глаза при этом задорно сверкают. Мой ответ его не устраивает.

— Зачем тебе знать? — повторяет он свой вопрос.

— Я слышал тебя по израильскому радио.

...Не успел кончиться бой, как несколько командиров подразделений вышли в эфир, чтобы рассказать, как обстояло дело. Радиопередача, в которой принимал участие Мотта Гур, освободитель Старого города в Иерусалиме, имела такой успех, что повторять ее пришлось несколько раз.

— Твоя история, — говорю я ему, — отличается определенным масштабом, я бы даже сказал, религиозным масштабом.

Он изобразил крайнее раздражение. Что я, собственно, пытаюсь доказать? Теперь его очередь задавать вопросы:

— Разве я говорил о Боге?

— Нет.

— О Библии?

— Нет, не говорил.

— Разве я затронул хоть одну тему, не имевшую отношения к боевым действиям? Я что, читал проповеди? Цитировал Тору?

— Нет.

— Вот видишь. Твой вопрос лишен смысла. Спрашивай кого угодно, только не меня. Моя задача сводилась к тому, чтобы рассказать, что произошло. Со мной.

Он прав. Но рассказ у него получился лучше некуда. В нем есть пророчество, и чем дальше Мотта рассказывает, тем больше мне нравится то, что я слышу. Лихорадочные приготовления, растущее напряжение, противоречивые приказы, обрывистые телефонные разговоры, боевое задание, все мелочи учтены, приглушенные голоса и поспешные шаги в темноте — считанные секунды до первой атаки. Не помня себя в пылу боя, нарушая приказы, презрев опасность, каждый десантник в батальоне обязательно хотел сражаться на передней линии, пойти в атаку первым. Полковник впереди. Его водитель, великан Бен-Цур, отжимает педаль газа до пола, однако Мотта Гур кричит: «Быстрее, Бен-Цур, быстрее!»

Один раз пришлось остановиться — дорогу перегородил перевернутый иорданский мотоцикл — возможно, заминированный. «Чего ты ждешь, Бен-Цур? Поехали!» Мины под мотоциклом не оказалось. Ворота в Старый город приоткрыты. Западня? «Поехали, Бен-Цур! Вперед!» Западни не было. Выпрыгнув из бесполезного на узких улочках джипа, полковник бежит вместе с остальными, вырывается вперед. Дикая, безумная гонка. В предрассветной тьме рвутся снаряды. Людей разрывает на части. Раненые со стоном ползут вперед. Десантники движутся перебежками — с улочки на улочку, от башни к башне; их влечет какая-то неумолимая, безжалостная сила, у каждого такое чувство, будто вся жизнь прожита ради этого мгновения, ради этой бешеной гонки. И вдруг в оглушительном грохоте слышен голос Мотты Гура — он докладывает обстановку в штаб: «Хар Хабайт наш! Слышно меня? Храмовая гора в наших руках...» И повсюду, на всех фронтах, в каждом доме, офицеры и солдаты, дети и старики рыдали и обнимались. И в этих слезах, в этих взрывах чувства было что-то нереальное, отчего происходившее казалось событием совершенно уникальным, способным изменить всех, кто через него прошел.

— Что-то у тебя чересчур поэтично получается, — говорит Мотта Гур. — Мне это не нравится.

— Ты хочешь сказать, что для тебя это был обычный бой, один из многих, да?

— Ну, это ты, положим, загнул... Иерусалим ведь брали как-никак. Но... чего смеешься?

— А чем взятие Иерусалима отличалось от любого другого боевого задания?

— Взятие Иерусалима — это не просто боевое задание. Это что-то другое. Иерусалим это... Иерусалим.

— А что делает Иерусалим... Иерусалимом?

— Его история, конечно. Это ведь еврейский город, верно? Это меня и трогает. Волнует.

— У Иерихона история тоже еврейская. И у Хеврона. И у Газы. И у Вифлеема.

— Какие у тебя избитые сравнения. Иерусалим ни с чем не сравним.

Мотта Гур попал в ловушку. Стал изъясняться сложно, витиевато. Он это понимает и погружается в молчание. Перед моим же мысленным взором возникает незабываемое: его десантники у Стены плача.

— Твои люди рыдали, как дети. А ты? Ты плакал?

— Нет.

— Не плакал?

— До Стены я добрался, когда мой передовой отряд был уже там. Где-то, видно, задержался. Бой-то шел везде. — И, помолчав, добавил: — И потом... не люблю церемоний.

— Никогда и никаких?

— Я люблю, чтобы все было просто, естественно.

Сказать, что, по-моему, Стену ему хотелось увидеть именно по этой причине? Потому что в ней не было абсолютно ничего искусственного. Нет, не стоит. Он и так все понимает, без слов. Не зря же идет на попятный:

— Может, сменим тему?

— Нет.

Он пожимает плечами.

— Ладно, — говорю. — Не будем о Стене. Поговорим о чем-нибудь другом. Например, о Храмовой горе. Ты ведь на нее первый поднялся?

— Да. — Опять напрягся.

Смотрю ему прямо в глаза и спрашиваю:

— Волновался?

— Догадайся сам.

— Волновался... до слез?

— Я не плакал.

— Не плакал?

— Слушай, отстань, а? Я в слезы не верю. Всё, точка.

— И все-таки попробуй вспомнить. Что ты чувствовал, стоя на отвоеванной Храмовой горе? Гордость? Ликование? Ностальгию, может быть?

— Скажем так: чувство, которое невозможно выразить словами.

— А ты постарайся.

— Нельзя говорить о том, что вызывает глубокие чувства.

— А о чем можно говорить?

— Ни о чем.

— Не согласен. Всякий, кому выпало на долю тяжелое испытание, должен о нем рассказать — это его долг.

Мотта Гур задумывается и неохотно соглашается:

— Может, и так. Возможно, ты прав. — Прикрыл глаза — что-то вспоминает. — Возможно, ты и прав, но любопытство твое я удовлетворить не в состоянии. Не могу передать чувство, которое овладело мной в тот момент. Помню только, каким оно было глубоким. Никогда еще не испытывал такого сильного, опьяняющего чувства.

И тут, понизив голос, он поделился со мной своей мечтой.

Мечтой, которую после 1948 года лелеяли многие еврейские воины: захватить город, который когда-то был столицей Израильского царства, и вновь объединить его с судьбой Израиля.

— В течение двадцати лет, везде и повсюду, я готовил себя к тому самому дню, к той самой битве. Понимаешь, когда Старый город капитулировал, мой батальон стоял в пустыне Негев. И я пообещал себе, что в следующий раз, если только представится возможность, я возглавлю штурм Старого города. Однажды я даже сказал об этом — в шутку, естественно, — Шломо Горену, главному армейскому раввину. «Держись меня, — говорю, — и я тебе гарантирую: Стену ты увидишь раньше всех». Когда мы встретились во дворе Храма, у Стены, он мне о моем обещании напомнил.

— А ты о нем давно забыл, да?

— Я? Забыл?! Ты будешь смеяться, но я никогда ни минуты не сомневался, что сдержу обещание. Слушай, всего за несколько дней до понедельника пятого июня, я вдруг решил, что стоило бы отправиться со своим штабом в инспекционную поездку по иерусалимским аванпостам. Хотя тогда делать там было нечего. В соответствии с планами командования я должен был зайти в тыл египтянам на юге, далеко от Иерусалима.

— Как же ты объяснишь эту свою импровизацию?

— Понятия не имею. Объяснения ей я дать не могу — даже самому себе. Захотелось поехать в Иерусалим — вот я и поехал. Чтобы все увидеть собственными глазами. Познакомиться с местностью. Никогда ведь не знаешь, что может произойти. Готовым надо быть ко всему.

И вот пустыня превратилась в крошечный ад. Израиль сражался уже несколько часов, а Мотта Гур и его десантники, хотя они и находились в состоянии повышенной боевой готовности, еще не знали, что им будет поручено особое, почетное задание, которое даже правительство пока всерьез не рассматривало. Все зависело от молодого короля Хусейна: будет он придерживаться выжидательной тактики или же откроет второй фронт. Благодаря иорданскому монарху, совершившему самую большую ошибку за все годы своего правления, Мотта Гур и его десантный батальон вошли в историю.

- И ты был уверен в победе?
- Да.
- С самого начала?
- С самого начала.
- И никогда не ставил ее под сомнение?
- Никогда.

Он объяснил, что хорошо представлял себе соотношение сил. Израильтяне были лучше подготовлены, к тому же они знали, за что сражаются; речь ведь шла о защите их детей и домов. Они бы никогда не сдались без боя, не отступили, бросив танки и артиллерию.

- Они что же, бесстрашны?
- Страх испытывают все.
- И ты?
- И я.

— Страх боли? Или страх смерти? Или страх, что умрешь за час до победы?

- Просто страх.
- И тебе, когда ты боишься, стыдно?
- Нисколько. Страх свойственен человеку. Зачем бороться со страхом? Это ведь цена, которую я хочу и должен платить.

Если тебе страшно, лучше самому идти на передний край, а не посылать под огонь своих людей, товарищей. Сколько раз мне хотелось быть с ними, на их месте. Я представлял себе, что они ранены, изуродованы, и их страх вызывал у меня зависть.

Тут он неожиданно замолкает, в глазах стоит ужас. Этот закаленный в боях офицер, человек железной воли так волнуется за судьбу своих солдат, что, кажется, испытывает в эти минуты острую боль, приступ нежности к своим людям. Когда бой был уже в самом разгаре, он вдруг вспомнил, что один из его офицеров, капитан, — человек глубоко религиозный. Представив, как он обрадуется, когда вновь увидит Стену плача, Мотта Гур тут же отправил его на передовую. К Стене капитан пришел раньше своего командира.

— Странно, — говорит Мотта Гур, потирая лоб. — Взятие Иерусалима поначалу воспринималось, как обычное бо-

еое задание. Но потом с нами как будто что-то случилось — мы стали иначе сражаться. Охваченные чувством и новым, и вместе с тем каким-то древним, родовым, мы вдруг поняли, что наша задача состоит не в том, чтобы захватить стратегическую высоту или важные коммуникации; наша задача — освобождение самой истории. Мы словно спешили на свидание: бежали со всех ног, задыхались, казалось, сердце вот-вот выпрыгнет из груди...

Главное, не сказать ему, что он прекрасный рассказчик. Скажете, что его рассказ ниспослан свыше, — и он впадет в ярость.

— Ты что, спятил? Кому ниспослан? Мне?! Да ведь я не верю в Бога, сколько раз повторять! Да, иногда я хожу в синагогу, но только с детьми. Выполняю, можно сказать, свой родительский долг...

Верно, Мотта Гур — человек не религиозный, во всяком случае, в том смысле, который мы в это слово вкладываем. И разве ж вина Мотта, если в его историях мне слышится эхо Талмуда и отзвук старинных легенд?

— Слушай, — говорит он, — не давай волю своему воображению. Понимаешь? — Сейчас он и в самом деле расстроен. — Я уже говорил тебе, повторю еще раз: сражаясь, я лишь выполнял свой долг — долг солдата и еврея. А сейчас я просто рассказываю тебе о том, что произошло. Со мной.

Неправда! Это еще и рассказ о мечте. О его мечте. И о нашей общей мечте тоже. Мечта эта будет посильнее его рассказа.

ОЗАБОЧЕННОМУ ДРУГУ

Ты озабочен. О чем сообщил мне во время нашей последней встречи. Озабочен ситуацией на Ближнем Востоке. И я тоже. Озабочен и встревожен. Будущее не сулит ничего хорошего. Нарушения договоренности о прекращении огня, артиллерийские дуэли, саботаж и ответные удары, ночные рейды, штурмы и бомбардировки: насилие берет верх над бездействием, подстегивает само себя. Сколько матерей и у них, и у нас каждый день надевают траур! Сколько молодых людей и у них, и у нас, не успев пожить, каждый день расстаются с жизнью! Неужели это проклятье никогда не кончится? Мы ведь с тобой друзья, подумал я, мы оба верны нашей дружбе, у нас общее все, а значит — и общий страх. И все же ты упорно твердишь: «Мне бы не хотелось, чтобы Израиль называли агрессором, а это произойдет наверняка». И добавляешь: «Мне бы не хотелось, чтобы у молодых израильтян сформировалась психология завоевателей, а между тем, если только не произойдет ничего экстраординарного, им эта психология будет навязана».

Так вот, раз мы друзья, хочу тебя заверить: напрасно ты беспокоишься, для волнений нет никаких оснований. Израильтянин-победитель тебя не разочарует: даже в меняющихся обстоятельствах он останется неизменным. Он может перестать быть жертвой, однако палачом не будет никогда. Он не станет подавлять волю находящегося в его власти врага, подвергая его пыткам и/или унижениям. По еврейской традиции, победа — это нечто большее, чем нанесенное противнику поражение. Всякая победа — это в первую очередь победа над самим собой. Именно поэтому еврей никогда не был палачом, он — почти всегда жертва, а не палач.

Пройдитесь по Западному берегу, и вы не испытаете ни ужаса, ни жалости, которые неизбежно вызывают еврейские гетто. Вы не увидите мрачной картины голода и запустения. За больными ухаживают, детей кормят. Кроме того, люди здесь свободны. Они могут ехать, куда хотят, видеть, кого хотят. Тамашние политики могут открыто говорить о своем противодействии Израилю; они знают: их за это не накажут. Они имеют возможность слушать каирское и дамасское радио, которое — день за днем, планомерно — призывает их к терроризму и бунту. Много ли ты знаешь примеров подобного поведения оккупационных войск? Известны ли тебе случаи, когда оккупант поощряет оккупируемых поддерживать семейные, деловые и прочие связи с противником, с которым находится в состоянии войны? Поезжай и посмотри, что происходит на Алленби-бридж, где сотни местных жителей каждодневно фланируют между Хевроном, Наблусом, Вифлеемом и Амманом, — и у тебя пропадет охота сравнивать ситуацию в сегодняшнем Израиле с тем, что творилось в оккупированной Германией Европе.

Разумеется, ты возразишь, что всякий оккупационный режим по определению жесток и несправедлив. И я придерживаюсь того же мнения, однако в данном случае хотел бы добавить вот что: коль скоро в настоящий момент оккупация необходима, та форма, которую избрал Израиль, является, на мой взгляд, самой гуманной и наименее деспотичной. Сравнить израильских солдат с немецкими несправедливо: у израильтян отношение к человеку иное.

С чего ты взял, что еврейские воины испытывают внезапную жажду власти, насилия, ведь в пылу боя они проявляли завидное спокойствие и выдержку? На каком основании ты обвиняешь их в том, что со временем у них разовьются садистские наклонности?

Не забудь: Израиль не хотел ни этой Шестидневной войны, ни этой победы. Они были ему навязаны. Не забывай также, что военные действия не возникли из ничего. Война не началась по воле случая или в результате чьей-то прихоти. В течение трех недель — и это крайне важно — Израиль

подвергался мощнейшему психологическому давлению. Уход вооруженного контингента ООН, блокада Тиранских проливов, переброска войск на Синай, военные союзы, подстрекательские лозунги, толпы людей, охваченных разрушительным, мстительным безумием. Вспомни арабскую пропаганду тех дней, агрессивные заклинания Ахмеда Шукейри. И не говори мне, что он вел себя, как «безответственный дебил»; к безответственному дебилу Насер и Хусейн не относились бы с таким уважением, не обнимали бы перед камерами, не вводили в свои военные советы. Все вместе они открыто заявляли, что час возмездия близок: Израиль и израильский народ должны быть стерты с лица земли.

Любой другой воин, услышав эти злобные крики, захотел бы отомстить. Еврейский же солдат сумел взять себя в руки. Военнопленные, ожидавшие худшего, той судьбы, которую они уготовили евреям, были потрясены выдержкой победителя ничуть не меньше, чем его победой. Потрясено было и гражданское арабское население. За редким исключением, вчерашние жертвы не дали своей накопившейся, еле сдерживаемой боли вылиться в жестокость. Не было ни грабежей, ни изнасилований, ни вымогательств, ни казни заложников. Не было ни одного акта варварства, которыми обычно сопровождается захват вражеской территории.

Послушай историю, за подлинность и правдивость которой я ручаюсь. Мне ее рассказал один мой знакомый.

Этот человек служил в батальоне, получившем задание освободить Старый город в Иерусалиме. Бой был долгим и кровопролитным. И вдруг под смертоносным дождем снарядов и пуль, на только что отвоеванной улочке появился араб; подбежав к патрулю, он сказал, что ему срочно необходимо увидеть офицера. Решив, что араб послан для заключения перемирия или же что он двойной агент, мой знакомый его принял.

— Мне нужен врач! — крикнул араб. — Скорей, жена рождает!

Сама по себе просьба, да и ситуация тоже были столь нелепы, что офицер с трудом сдержал смех. А потом задумался, чем мне и понравился. В самом деле, кому оказать первоочередную помощь? Его солдатам, корчившимся от ран, или неизвестной женщине, чей ребенок (сын?!), когда вырастет, вполне может зарезать его собственного сына? В конце концов решение было принято, отчего командир батальона понравился мне еще больше. Еврейский врач был отправлен принять роды у арабской женщины.

Какие же у тебя основания считать, что у этого офицера, да еще вернувшегося к гражданской жизни, вдруг возникнет склонность к жестокости, одержимость мучить и подвергать пыткам?

А теперь позволь мне перейти к сути дела, хотя я и понимаю, что мысль, которую сейчас выскажу, может показаться тебе крамольной. Если сегодня многие пацифисты и псевдопацифисты, многие политики недовольны победой Израиля, то происходит так именно потому, что победу эту израильяне одержали, не посрамив свою честь. Если бы победоносный еврей повел себя обычным образом, в духе других завоевателей новейшей истории, если бы свои отношения с побежденными он строил по принципу «хозяин — раб», «живое существо — неодушевленный предмет», его бы поняли и простили. Чего мир не может простить Израилю, так это его дерзкой и возмутительной решимости оставаться гуманным в ситуации, к гуманизму не располагающей.

Пример? Пожалуйста. Старый город в Иерусалиме. Да, опять Иерусалим. В течение двадцати лет, когда городом незаконно, вопреки резолюциям ООН, владела Иордания, никто ни разу не выступил с протестом. Такое положение считалось *fait accompli**. Ни одна страна в мире не сочла возможным выступить против надругательства над еврейскими святынями, против строительства роскошных отелей

* Свершившийся факт. (*фр.*)

на древних еврейских кладбищах, против разрушения синагог, которым было несколько сот лет. Страны-члены ООН с легкостью пренебрегли тем, что Иордания, запретив евреям доступ к Стене плача, нарушила свои собственные соглашения о перемирии. Стоило же евреям стать вместо иорданцев хранителями Святого города, как реакционные и коммунистические правительства, левые журналисты и правые пропагандисты поспешили выразить свое возмущение. С Израилем поступили несправедливо? Он имеет право на этот город, ибо владел им три тысячи лет? Подобные аргументы никого не интересовали. С тем фактом, что в 1967 году из Старого города не было изгнано ни одного араба, тогда как в 1948 году из него были выброшены все евреи до одного, считаться не желал никто. Как не считался никто и с тем, что израильяне уважают и не дадут в обиду святые места всех трех религий Старого города, существовавших здесь со времен разрушения Храма. Больше того, подобное уважение оборачивается против них. Израильяне ненавидят как раз потому, что они не грабят храмы и не оскверняют мечети.

Еще пример? Нападение на аэропорт в Бейруте. Помнишь? Дюжина самолетов уничтожена прямо на земле; блестящая операция против Ливана, власти которого закрывали глаза на действия палестинских террористов. Помнишь, какой тогда поднялся международный скандал? Никогда еще так поспешно не собирался Совет Безопасности, никогда еще не голосовал он так быстро и единодушно в осуждение Израиля. Друзья арабов были в бешенстве; друзья евреев — в замешательстве. Даже произраильские круги отклонили наш аргумент о том, что двадцать самолетов представляют меньшую ценность, чем жизнь одного человека, убитого в Афинах арабскими террористами за неделю до этого.

Я ничего не понимал. Почему все так возмутились? Чем эта относительно безобидная и бескровная акция возмездия отличается от любой другой? Почему она была воспринята столь негативно, ведь в результате ее осуществления не по-

гиб ни один человек? Ответ, как это обычно и бывает, заложен в самих вопросах. Нападение на Бейрутский аэропорт осудили именно потому, что удалось избежать кровопролития. Если бы человеческие жертвы имели место, реакция была бы более сдержанной. Заявив, что человек — любой человек — важнее, чем предмет — любой предмет, — Израиль вызвал всеобщее осуждение. Пожалуйста, не спорь, дело обстоит и всегда обстояло именно так. Еврея люди всегда ненавидели за то, что он упорно не желал вписываться в их представление о еврее-жертве. Сегодня же они недовольны, поскольку он отказывается вписываться в их представление о еврее-победителе. Подумать только, он посмел, да еще с успехом, осуществить рискованную операцию — временный захват аэропорта противника, не причинив вреда ни одному живому существу! Согласись, его судьем есть отчего прийти в бешенство.

Ничего удивительного, впрочем, тут нет. Еврея строго судили во все времена. Сначала его судил Бог. Потом — люди, которые, используя различные звания и предлоги, утверждали, что осуществляют Божий суд. В конце концов еврею пришлось оправдываться в глазах всего мира за каждый лишний прожитый день, за каждый лишний прожитый час. И игра продолжается. Еврея упрекают в национализме и космополитизме, в богатстве и бедности, в покорности и бунтарстве. Мы еще не успели до конца оправдать тех евреев, которые во время Холокоста принимали смерть без борьбы, а уже вынуждены защищать других евреев, которые спустя поколение сражаются — и сражаются хорошо, — потому что не хотят умирать.

Кто же наши судьи? Москва, чьи армии вошли в Прагу? Вашингтон, чьи войска стирали с лица земли вьетнамские деревни, чтобы, как выразился один американский офицер, «спасти их»? Святоши с чистыми руками в Париже и Лондоне? Формоза? Это было бы фарсом, если б не было трагедией. Почитай газеты. Тысячи людей умирают в джунглях Азии. А ООН молчит. Политические обозреватели говорят

о реальной угрозе ядерной войны. Вопрос только в том, кто первым спустит курок. И в кого. И что же? Всем наплевать. У Тан заявил, чтобы дома его беспокоили только в случае начала войны. И никто даже глазом не моргнул. В Биафре — помнишь? — измученные голодом и болезнями дети буквально за минуту до смерти попали в объектив фоторепортеров. А ООН молчит. Подожди, еще один, последний пример. Недавно я слышал по радио, что число умерших от голода, да, от голода, жителей Биафры превышает два миллиона. А Организация Объединенных Наций опять же хранит молчание. Этот вопрос не был даже внесен в повестку дня.

Когда же уважаемые члены ООН пробудятся от сна? Когда получат указание предъявить обвинение Израилю. Тогда им будет что сказать. Почему все они так рвутся в бой? Потому что Израиль и для них остается разобщенным народом. Народом, само существование которого является вызовом нациям более богатым и могущественным, а способ вести войны и одерживать в них победы — укором тем, чьи битвы не прославили человеческий дух.

Для меня же победа Израиля — это прежде всего моральная победа. Государство без однопартийной системы, без массовых казней — много ли таких стран ты знаешь в этой части света? В Багдаде толпы празднично одетых людей всю ночь танцуют под виселицами. В Египте концентрационные лагеря существуют по сей день. А известно ли тебе, как обращаются с израильскими заключенными сирийцы? Они пытаются евреев до тех пор, пока те не сходят с ума — в буквальном смысле слова.

В Израиле же произвола нет. На судебную власть не оказывается никакого давления. Инакомыслие — неотъемлемое право каждого. Не было еще ни одного случая, чтобы гражданина Израиля судили за публичное выражение своих взглядов. Оппозиция сидит не в тюрьме, а в парламенте. У палестинских террористов в Наблусе и Газе прав больше, чем у противников Хуари Бумедьена в Алжире. В Израиле революция не уничтожила демократию, национальная неза-

висимость не была завоевана ценой человеческого достоинства. И в этом ее истинная победа.

Разумеется, как и ты, я от души надеюсь, что настанет день, когда еврей и араб, помирившись ради своих детей, будут жить в мире, не стремясь ни в чем ограничить друг друга. Я глубоко убежден, что таковы истинные чаяния всех израильтян. К несчастью, арабские лидеры из страха перед собственными экстремистами не решаются пожать протянутую им руку — в этом и состоит их трагедия. Прислушайся они к голосу разума — и все остальное стало бы возможным. Они же упорно отрицают право Израиля на существование; с тем же, чего не существует, мир заключить нельзя. Подобная куриная слепота неприемлема. Да, один народ, как и человек, может, обезумев, возненавидеть и объявить войну другому народу. Но отрицать само существование другого народа, считать представителей этого народа нелюдями невыносимо. Даже Бог не позволяет себе относиться к человеку как к неодушевленному предмету. Вот почему у Израиля нет выбора: он будет ждать, пока его не признают. А ждать мы за двадцать веков изоляции научились.

По правде говоря, я знаю, что тебя беспокоит. Ты боишься, что то, что ты называешь «еврейской душой», закаленной в страданиях и привыкшей к преследованиям, перестанет быть еврейской. Ты боишься, что, излечившись от ран, она может измениться, стать такой же жестокой и бесчеловечной, как и окружающий ее мир. Так вот, хочу тебя заверить: еврейская душа перенесла столько приступов ненависти, многоликой родовой ненависти, что устоять от мимолетного, вызванного боевыми успехами ликования ей труда не составит. Поверь, Израиль заслужил боевую славу — наша история лучшее тому доказательство. Душа так радикально и так быстро не меняется. Ментальность, психология победителя не вырабатываются за месяцы, даже годы; для этого должно прийти следующее поколение, да и не в традиции израильтян кичиться одержанными победами. Еврей на

протяжении своей тысячелетней истории изо всех сил сопротивлялся переменам — неужели же ты полагаешь, что из-за нескольких одержанных на поле боя побед он отречется от своего наследия?

Ты знаешь и ценишь еврейский народ и не можешь не понимать, что тайна его живучести — и озлобление, которое эта живучесть вызывает, — определяется несокрушимой волей быть верным судьбе, чего бы это ему ни стоило, в любых обстоятельствах. На протяжении всей своей мучительной истории еврейская душа оставалась еврейской, то есть живо отзывающейся на все человеческое. Еврейской она останется и теперь, когда блеснул слабый свет надежды.

ЮНОМУ НЕМЦУ ИЗ НОВЫХ ЛЕВЫХ

«...И вот почему в конце этой битвы, глядя из этого города, превратившегося в кромешный ад, поднявшись над всеми мучениями, причиненными нашему народу, несмотря на наших изуродованных мертвецов и наши деревни, полные сирот, — я могу сказать вам, что в ту самую минуту, когда мы собираемся уничтожить вас без всякой жалости, мы тем не менее ненависти к вам не питаем. И даже если завтра нам, как и многим другим, придется умереть, мы все равно не будем вас ненавидеть».

С этими словами, написанными в 1944 году, Альбер Камю обратился к немцу, который мог бы быть твоим отцом. Привожу их потому, что они напрямую связаны с теми проблемами, которые стоят перед нами сегодня. Как и в 1944-м, основная наша беда — ненависть. Ненависть, которую ты питаешь ко мне. Ко всем нам.

В последнее время об этом часто пишут в газетах. Вы ведь довольно шумные ребята. Вам, как вообще многим молодым людям, свойственно принимать безалаберность за независимость, вы легко впадаете в раж и готовы уничтожить все вокруг. Чтобы мы, не дай Бог, не пропустили хоть слова из вами сказанного, вы кричите что есть мочи.

Не проходит и недели, чтобы о ваших проделках не писали газеты. Беспорядки в Берлине — ваших рук дело. Буйство во Франкфурте — опять вы. Марши протеста, демонстрации, дебоши — вы, всегда вы.

Не пойми меня превратно — мы вовсе не жалуемся. Напротив, ваше стремление бросить вызов режиму — каким бы он ни был, и отвергнуть институт власти — на чем бы

он ни основывался, представляется нам вполне естественным, в каком-то смысле даже желательным.

Твоя страсть бунтовать, если только страсть эта искренняя и чистая и, стало быть, по сути своей наивная, заслуживает одобрения. В большей степени, чем любой другой, ты можешь и даже должен добиться того, чтобы родители и тот мир, который они оставили тебе в наследство, услышали твой крик отчаяния и отвращения.

В большей степени, чем любой другой, ты имеешь право сердиться — ведь ты родился после потопа, после сведения счетов, ведь ты был выброшен в порочный мир, ведь ты принадлежишь к фанатичному и упрямому народу, отвергнувшему своего фюрера лишь после его военного поражения, а не за его преступления.

Только ты, сын, который вправе обвинить отца за то, что он еще до того, как дать тебе рождение, изуродовал и отравил твое будущее, способен написать великую книгу эпохи, книгу ужаса и проклятия.

Да, в этом отношении тебе повезло меньше, чем нам. Нам, видишь ли, не за что ненавидеть наших отцов. У тебя же, напротив, есть для сыновней ненависти все основания. Ты не можешь верить в братство народов, не возненавидев старшее поколение за то, что оно убило в тебе всякую веру; не можешь заявить о своей вере в человечество, не отвергнув старшее поколение за то, что оно эту веру осквернило. Не презирай ты своих погрязших в преступлениях отцов, и ты перестал бы быть человеком. И не заслуживал бы прощения.

Было время, когда и мне казалось, что я тоже могу и должен ненавидеть твоих отцов. Я был противником дешевого либерализма, который ради политической или религиозной целесообразности требует забвения, прощения и отпущения грехов. Всякий питающий любовь к своему палачу, думал я, создает превратный взгляд на любовь, превратный образ человека. Всякий убивающий из любви или просто с любовью должен в конечном счете эту любовь убить. Испытывающий

жалость к жестокому, говорится в Талмуде, будет со временем жесток с теми, кто способен на жалость. Для человека, вынужденного выбирать между ролью палача и ролью жертвы, любовь и то, что отрицает любовь, — вещи несовместимые; ни один смертный не имеет права примирить одно с другим. Тут либо одно, либо другое, одно вопреки другому. Убийство по определению исключает надежду, свойственную каждому человеку. Убийство — как цель, а не как средство — представляет собой вызов бессмертию, обещанному человеку. Тот, кто убивает, убивает Бога. Недостаточно, стало быть, дать бой убийству и убийце; надлежит порвать с ними все связи, отбросить их за стену ненависти. Так я думал.

С годами, однако, начинаешь понимать, что чувства, как и люди, от нас ускользают. Со временем иссякают даже самые животворные источники. Попытка возродить любовь вызывает ничуть не меньшее разочарование, чем стремление пробудить в душе прежнюю ненависть. Мы полагали, что носим в себе дремлющие вулканы, а вулканы эти давно потухли. Кто знает? Быть может, глагол «ненавидеть», как и «любить», спрягается только в настоящем времени.

Но у тебя все иначе. Готовы мы, евреи, простить или не готовы — это наша забота. В любом случае тебе от этого легче не будет. Даровать прощение ведь все равно будешь не ты, и тем более не твои отцы, чьи имена и чей позор ты носишь. Ты не можешь не задавать некоторые вопросы, на которые у них нет ответа, и требовать объяснений, которые они не в состоянии дать.

Рожденный из ненависти и руин, ты имеешь право на бунт, ибо бунт подразумевает необходимость покаяться в содеянном, желание искупить грехи. К сожалению, ты не отдаешь себе отчета в ограниченности этого бунта. Порожденный глубокой травмой, он и преследует «болезненно» завышенные цели.

Отказываясь во всем обвинять только старшее поколение, ты считаешь себя вправе предъявить обвинение всему миру. Ничто тебя не радует, никто не воодушевляет. Капи-

тализм, социализм, коммунизм — тебе одинаково ненавистны все политические системы, ты осуждаешь всех, кто пытается к тебе апеллировать. Америку ты ненавидишь за Вьетнам, Советскую Россию — за то, что она не объявляет войну Америке. Западные демократии ты считаешь слабыми, а значит, нелепыми; что же до остальных стран, то их ты презираешь за мягкотелость. Все страны кажутся тебе «прогнившими» и «разлагающимися». Верно, китайцы тебе по душе, да и то лишь потому, что они так же далеки от твоей «культурной революции», как и ты от их.

Не важно. Это твои проблемы. Раз ты отвергаешь все и вся, раз все человечество поголовно вызывает у тебя отвращение — продолжай в том же духе, бейся головой о стену, мы тебе мешать не будем.

Но в своей детской невосдержанности ты позволяешь себе выступать в роли общественного обвинителя Израиля и израильского народа. И тут я должен тебя остановить — ты зашел слишком далеко, перешел границы дозволенного.

Во-первых, мы, насколько мне известно, ничем перед тобой не провинились. Во-вторых, у тебя покамест хватает забот на родине, ты еще не разобрался с самим собой, а уже вмешиваешься в наши дела, ничего общего с твоими не имеющие. Прежде чем лишать слова наших политиков, вдумайся, какой вздор несут многие политики в Германии.

Сколько раз тебе повторять? Много воды утечет в Рейне и в Иордане, прежде чем наступит время, когда у вас, немцев, будет чему поучиться.

Некоторые представители старшего поколения это понимали. Генрих Бёлль, Альфред Андерш, Мартин Вальзер знали: чтобы обрести чувство собственного достоинства, им придется прежде всего завоевать уважение у жертв своих отцов. В этом и состоит их человеческая отзывчивость.

Знаешь, почему Гюнтер Грасс столько лет не решался поехать в Израиль? Потому что боялся, что его ждет либо откровенно враждебный, либо, наоборот, исключительно радушный прием. Он же не хотел ни того, ни другого.

Грасс слишком порядочен и честен, чтобы в присутствии еврея чувствовать свою полную безнаказанность. А ведь ему решительно не в чем себя винить. Он был еще слишком молод и ничего плохого не сделал. Мало того, все его творчество — это крик больной совести, не вынесшей тяжкого бремени чужой вины. Вот почему его книги так сильны, так правдивы. Вот почему мне он так близок — думаю, мы поняли бы друг друга. И хотя нас преследуют разные привидения, мы вполне могли бы вступить в диалог, осмысленный и глубокий.

А вот с тобой не могли бы. Почему? Да потому, что терпимость для тебя — пустой звук. Потому что ты, по всей видимости, не понимаешь одной очень важной вещи: сегодня спасение немца без евреев невозможно. Твой путь к человеку лежит через нас. Гюнтер Грасс это понимает, ты — нет. Ты полагаешь, что твои руки чисты. Пусть так. Но ты вдобавок претендуешь и на чистую совесть. Напрасно.

Разумеется, это вовсе не означает, что я придерживаюсь теории коллективной вины. Совсем нет. За преступления твоих отцов тебя обвинять нельзя. Нацистские зверства совершались до твоего рождения, и ответственность за них несут только их исполнители. Если же тебя самого эти зверства оставляют равнодушным, это опять же твое личное дело. И все же, согласишься, подобная невосприимчивость относится и к настоящему времени, а ведь сегодняшней день — это уже твоя ответственность. Нет, не хотел бы я дружить с таким, как ты, бессердечным существом, без памяти и, что еще хуже, без воображения.

Имея наглость и злобу публично оскорблять Израиль и предлагать помощь и поддержку его врагам, ты не только не освобождаешься от вины немцев, которую отказываешься признать, — ты всецело берешь ее на себя. Становясь на сторону арабских террористов, ты проясняешь свою позицию и в отношении Холокоста. Пора таким, как ты, это понять.

Понять, что вы идете по стопам своих отцов. Они жили под знаком ненависти к евреям. И вы тоже; евреи теперь не

такие, как раньше, а вот ненависть к ним не изменилась, как не изменились и причины этой ненависти. Как и ваши отцы, вы — против нас, причем по той же самой причине. Ваша пропаганда напоминает пропаганду Геббельса. Он тоже обвинял нас в желании править миром и угнетать народы. Его союзник, бывший муфтий Иерусалима, Хадж Амин эль-Хуссейни, — теперь ваш союзник. И вы еще называете себя «прогрессивными»? И вдобавок «революционерами»? Да вы шутите. Упрямые слепцы, реакционеры, вот вы кто. То, что сегодня делаете вы, вчера делали ваши отцы. До сих пор вы лишь повторяли их слова, ибо не имели возможности повторить их «подвиги».

Вы виноваты в том, что делаете сегодня, и дважды виноваты в том, насколько ваши сегодняшние дела связаны с прошлым. Поскольку после Освенцима прошло двадцать пять лет, невозможно — и непристойно — судить о настоящем так, будто оно не имеет ничего общего с прошлым. Выступая против еврейского народа сегодня, вы берете на себя вину за то, что делалось с евреями вчера. Соглашаясь обречь на смерть выживших во вчерашней резне, вы сегодня становитесь сообщниками и союзниками палачей.

А потому не заявляйте во всеуслышание о своей наивности и о своем желании изменить мир — вы этого права лишились. В действительности вы продолжаете делать дело, которое задумали и осуществили ваши отцы. Нравится это вам или нет, но с этой минуты вы их последователи и наследники.

Значит ли это, что я отвечаю вам ненавистью на ненависть? Нет, не значит.

И даже если вы увековечите зло, которое посеяли ваши отцы, я вас не возненавижу. Я буду осуждать и разоблачать вас, буду сражаться с вами сколько хватит сил. Но ваша ненависть мне не передастся. Нет, я никогда не буду вас ненавидеть. Ни за вчерашний, ни даже за сегодняшний день. Это не ненависть, это что-то другое. Ваши вчерашние деяния вызывают у меня жалость, сегодняшние — презрение.

ЕВРЕЙСКОМУ ЮНОШЕ, МОЕМУ СОВРЕМЕННОМУ

Тебе семнадцать лет, и ты сбит с толку. Ты — еврей, и не знаешь почему. Не знаешь даже, что значит быть евреем; твои друзья — не евреи, а родители хоть и евреи, но какие-то не настоящие. Ты не религиозен, но, когда не постишься на Йом Кипур, тебе почему-то не по себе. Ты на стороне левых, однако антиизраильскую политику не приемлешь; хотя ты не сионист, Иерусалим для тебя ничуть не дальше Москвы. Марксизм привлекает тебя своим мессианством — к еврейскому же мессианизму ты совершенно равнодушен. Противоречивость твоей позиции, будь она реальной или кажущейся, тебя смущает, и ты просишь меня этот узел распутать. Иными словами, тебе хотелось бы знать, что в наше время значит быть евреем и какие обязательства это на тебя накладывает.

Боюсь тебя разочаровать, но, честно говоря, никакого ключа к решению этого вопроса, никакой тайной формулы у меня нет. Вместо того чтобы перечислять, в чем я твердо убежден (у меня таких аксиом очень немного, и носят они характер сугубо личный), я бы предпочел поделиться с тобой тем, как я к этим убеждениям пришел. Пишу эти строки, не столько чтобы ты понял меня, сколько чтобы понять себя самому. Еврей во мне, нашедший отражение, порой зеркальное, в моих перекликающихся друг с другом литературных героях, постоянно пытается обрести себя. Возможно, потому, что еврей — это и есть зеркальное отражение.

Помню, как ребенком я часто сопровождал мать к раввину из Вишниц. Она неизменно возносила Господу одну и ту же молитву — чтобы я вырос добропорядочным, богобоязненным евреем, который не нарушает Божьих заповедей.

Ее пожелание, которое исполнилось лишь отчасти, не более чем отчасти, постоянно преследует меня — как и все, что вписывается в пейзаж моего детства.

Сегодня-то я уже знаю, что Бога следует бояться, и, кажется, понимаю даже почему. Но иногда я подвергаю сомнению первую часть молитвы: как стать «добропорядочным» евреем? Меня смущает прилагательное. Без него все было бы просто.

В самом деле, быть евреем — не проблема (нет человека, который представлял бы собой проблему), а ситуация. Я еврей, потому что еврей. А не потому, что мое существование является проблемой для неевреев. С этим устаревшим тезисом Сартра я не мог согласиться никогда. Сказать еврею, что его существование обусловлено извне, значит, отрицать не только его неповторимость, но и присущие ему идентичность и созидательность. Как любой человек, еврей определяет себя только по отношению к самому себе. Он субъект, а не объект, он независимое существо, и его нельзя объяснить тем, чем сам он не является и что его отторгает.

Следует ли в этой связи заключить, что еврейская судьба не дает возможности выбора? Нет, конечно. Два эти понятия вовсе не являются несовместимыми. Напротив, для меня быть евреем значит сначала принять свою еврейскую судьбу, а уж потом осуществить выбор. Иными словами, мы сталкиваемся здесь с сознательным выбором, имеющим обратную связь. Из-за того, что я рожден евреем, я могу и должен избрать свою судьбу.

Этот выбор предполагает опыт на уровне истории и совести. Нет ничего раз и навсегда определенного, установленного; в любой момент, в любую минуту вы можете начать все сначала. Каждое ваше решение накладывает на вас обязательство; обязательство, которое имеет значение только в той мере, в какой оно проистекает из разорванного сознания, способного вызывать чувство постоянного удивления у самого себя.

Куда же в конечном счете ведет этот запутанный лабиринт? Ни один еврей ответить на этот вопрос не может. Ни

один еврей этого не знает. «Израэль никра холех», — сказано в Талмуде. Еврей пребывает в постоянном движении. Поиск характеризует его ничуть не меньше, чем вера; молчание — не меньше, чем крик отчаяния. Его суть легче определить тем, что его тревожит, а не тем, что вселяет уверенность.

Русский, сказал однажды Пушкин, «рожден для вдохновения». Унамуно подчеркивал трезвость и поэтичность испанца. Еврей же, каким он видится мне, все подвергает сомнению.

Когда спор окончен, когда все уже сказано и согласовано, возникает еврей; одним своим присутствием, одним своим неожиданным появлением он подвергает сомнению продуманные и устоявшиеся научные теории и постулаты. И приходится начинать все сначала. Стоит только завершить некое дело, как еврей настаивает на изменении его первооснов. Он создает системы — и немедленно подвергает сомнению их ценность; он опровергает все теории и классификации. Неудивительно поэтому, что его не любят; он смущает и раздражает даже своих защитников. Имея дело с евреем, они должны быть готовы к любым неожиданностям. Человек, в равной мере принадлежащий дню сегодняшнему и вечности, он несет в себе колебания и сомнения. В результате общения с ним в сердце победителя закрадывается тревога, побежденный теряет уверенность, что выполнил свой долг до конца. Две тысячи лет рассеяния приучили его ждать Мессию — и относиться к нему с подозрением, стоит только ему явиться. Задайся целью усомниться в правдивости всех мыслимых аксиом — и ты сделаешь то, что делает еврей на протяжении столетий.

Быть евреем, следовательно, значит, задавать вопрос — тысячи вопросов, и вместе с тем всегда один и тот же. Об обществе, о других, о себе, о смерти и о Боге. Как выжить во Вселенной, которая тебя отторгает? Или как примириться с историей и с могилами, которые история непрестанно роет и через которые с легкостью переступает? Или что ответить еврейскому мальчику, который без конца твердит: «Я не хочу страдать, я

больше не хочу страдать, не понимая зачем»? Или вопрос еще сложнее. Что ответить отцу мальчика, который говорит: «Я не могу позволить, чтобы мой сын мучился и страдал, не понимая, что его мучения имеют смысл и когда-нибудь кончатся»? И наконец, главный, самый серьезный вопрос из всех. Что ответить человеку, который не понимает, почему Бог хранит молчание в тот самый момент, когда человек — любой человек, еврей или нееврей, — как никогда прежде нуждается в Его слове, не говоря уж о Его милосердии?

Будучи евреем, ты рано или поздно столкнешься с загадочной участью Бога в истории. Без Бога существование евреев заинтриговало бы разве что социологов. При наличии же Бога евреи озадачивают философов и теологов. Без Бога попытка уничтожить европейское еврейство была бы значимой только на историческом уровне — еще один эпизод в еще одной бесчеловечной войне, а какая война не бесчеловечна? — и не потребовала бы тотального пересмотра самоочевидных ценностей и понятий. Без евреев Освенцим лишился бы ореола таинственности. Помнишь высказывание Сартра? В любви один плюс один равняется один. Для нас же, современных евреев, один плюс один равняется шесть миллионов. Единица, взятая шесть миллионов раз, равняется Бог. Нельзя вообразить подобную бойню при наличии Бога — непостижима она и без Него. В этом, быть может, и заключается высший абсурд случившегося: к нему ведут все пути, но внятного объяснения нет ни одного. Боль верующего равна смятению неверующего. Если ответом служит Бог, значит, этот ответ неверен. Ответа нет. Если Холокост придуман Богом, чтобы усомниться в человеке, то человеку ничего не остается, как усомниться в существовании Бога. Одно невозможно отделить от другого, и от тебя зависит, сочтешь ли ты этот силлогизм верным и будешь ли вести себя в соответствии с ним.

Но, повторяюсь, одно неотделимо от другого. Вопрос, который человек задает Богу, может совпадать с вопросом, который Бог задает человеку. Тем не менее жить с этим вопросом и сформулировать его должен человек. Тем самым он бросает Богу вызов, что позволительно и даже необходимо. Тот, кто

говорит Богу «нет», вовсе не обязательно вероотступник. Все зависит от того, как он это скажет и почему. Сказать можно все что угодно, коль скоро это говорится ради человека, а не в ущерб ему, коль скоро судишь изнутри; если же отрекаешься от своего народа, если судишь о нем со стороны, вот тогда ты становишься вероотступником.

На это ты наверняка ответишь: зачем говорить о Боге, раз я в него не верю? Не волнуйся, я вовсе не стремлюсь вернуть тебе веру. Ты вправе заменить Бога любым словом — или внезапным присутствием. Смысл моего обращения к тебе от этого нисколько не изменится.

Кроме того, оставляю за тобой право самому установить отношения с Богом. Для меня более существенны отношения человека с обществом.

Быть евреем значит обеспечить выживание народа, твоего народа, который оставил тебе в наследство коллективную память во всей своей полноте. Никто не имеет права препарировать историю в соответствии со своими личными пристрастиями, выделять тот или иной период, ту или иную историческую личность. Твое «я» вбирает в себя все исторические личности разом. Ты видел Моисея на горе Синай, слышал царя Давида в его цитадели, сражался с римлянами в Массаде, проливал кровь в боях с крестоносцами. Мидраш учит нас, что всякий, ощущающий себя отрубленной веткой, становится чужим. Изолируй себя во времени, и само время станет абстракцией. И ты — тоже. Время — это связующее звено, твое «я» — итог. Твое имя носили другие, до тебя. Твоя судьба не принадлежит одному тебе. Вопросы, которые задают дети, и ответы, которые они получают, звучали на горе Синай. Твои сомнения и тревоги, равно как и твои победы, передаются тебе по прямой линии от твоих древнейших предков.

Можешь называть это явление историческим сознанием или духом единения. Одной крови с тобой и те, кто живет в твое время, и те, кто в тебе выживает. Ты не можешь осуществиться как еврей, если не будешь ощущать связь с теми, у кого такие же, как у тебя, проблемы, такие же праздники и даже противоречия. С евреями в Израиле, в Со-

ветском Союзе, в арабских странах и даже в землях, где евреев не преследуют.

Как еврей ты имеешь право и даже обязан говорить от лица всех евреев. Твое слово, таким образом, приобретает неизмеримую важность и высший смысл. Твоими устами говорят твои самые далекие предки. Еврей, который отказывается от себя, отказывается от Авраама, Исаака и Иакова. Предать настоящее значит уничтожить прошлое. Тогда как самоосуществиться значит стать связующим звеном между прошлым и будущим, между угрызениями совести и угнетением, между изначальной тишиной сотворения мира и тишиной, нависшей над Треблинкой.

Ты ведь тоже пережил Холокост. Ты родился позже? Это не имеет значения. В огненные врата ступить можно и через двадцать пять, и через пятьдесят лет. Ты знаешь Ури-Ци Гринберга? Израильский поэт и провидец рассказывает историю молодого еврея, жившего во времена царя Ирода и отправившегося из Иерусалима в Рим. Он захватил с собой подушку, с которой не расставался никогда. Однажды ночью, когда он спал, подушка загорелась. В ту самую ночь загорелся и Иерусалимский Храм. Да, можно жить в тысяче миль от Храма и видеть, как он горит. Можно погибнуть в Освенциме после Освенцима.

Через Освенцим прошли мы все. И коль скоро Холокост — реальность, я рад, что знаю о нем не понаслышке. Тебя это удивляет? При том, сколько несчастья, позора и ужаса он в себе нес, опыт, который оставшийся в живых вынес из Холокоста, делает его существом привилегированным — живым свидетелем.

Только не сочти эту мысль попыткой восславить мученичество евреев. Я в мученичество не верю. Оно относится к нашему прошлому, а не к нашей судьбе. Евреи никогда не стремились быть мучениками, никогда не отождествляли страдание со святостью. Аскетизм чужд нашей традиции, которая всегда видела в умерщвлении плоти грех. Отказ от жизни и земных радостей не ведет к Богу. Бог пребывает в радости. Бог — это радость, Бог — это песня и страсть. Необходимость страдать?

Выдумана теми, кто в течение двух тысяч лет причинял нам неисчислимые страдания. Мученичество — это лишь один из многих мифов, которые нам приписывают. Из-за этого мифа у наших преследователей и была чистая совесть. «Да, мы наказываем евреев, но делаем это ради их же блага, ради их спасения», — говорили они. Или: «Наша ненависть — это то, что поддерживает в них жизнь». Ничего подобного!

Евреи охотно обошлись бы без преследований. Вопреки широко распространенному мнению, нам для самоутверждения и процветания антисемитизм вовсе не нужен. Чтобы повысить свой творческий потенциал, нам не требуется давление извне. Образ затравленного еврея, который мучается угрызениями совести и видит смысл жизни в жертвенности и искуплении грехов, создан не нами. Внимательно изучи этот образ, и ты увидишь — он создан нашими врагами. Мы изо всех сил пытались этот образ развеять. Смехом. И бунтом. Поскольку общество считало существование евреев несовместимым со своим собственным, евреи пытались общество изменить. Вот почему евреи так часто вставали во главе революций, вели за собой недовольных.

В своем письме ты спрашиваешь меня, чем объяснить, что многие из твоих друзей отличаются мятежным духом.

Бунтарство лежит в основе еврейской истории, о чем тебе наверняка говорили в школе. Авраам боролся с идолопоклонничеством отца, Моисей отвергал рабство, пророки, не считаясь с титулами, подвергали самой нелицеприятной критике царей и властолюбцев — они были истинными бунтарями. Были бунтарями и те преследуемые и угнетаемые евреи, что наотрез отказывались вступить в ряды своих угнетателей. Упрямой приверженностью своему вероучению они бросали вызов системе. Они боролись за свои права, а их за это судили и наказывали. Каждый еврей, не избравший легкий путь обращения в чужую веру, превращал свою ересь в акт открытого неповиновения. Таков и наш сегодняшний бунт. Скажу больше, на мой взгляд, он напрямую связан с трагическими последствиями Второй мировой войны, с Холокостом.

Недоверие и отказ подчиняться властям, беспорядки и бунты, тяга к свободе и желание отменить единомыслие и табу, оставшиеся в наследство от концентрационных лагерей, — все это не может не воздействовать на устремления и поступки твоих товарищей. Нередко сами того не сознавая, они чаще берут пример с представителей моего поколения, чем своего собственного.

Свою первую мутацию человек претерпел в Освенциме. Без Освенцима не было бы Хиросимы. И геноцида в Африке. И попыток дегуманизации человека, превращения его в номер, в неодушевленный предмет. Именно в Освенциме были впервые опробованы, описаны и усовершенствованы методы дегуманизации, которые впоследствии получили столь широкое распространение. Именно в Освенциме люди надругались над будущим, поставили его на кон. Отчаяние, порожденное Освенцимом, не будет изжито многими поколениями.

Твои товарищи, евреи и неевреи, хранят Освенцим в своем прошлом и восстают против тех, кто за это прошлое в ответе. Против родителей, философов, учителей, спекулянтов, приспособленцев, против двуличных вождей и бездуховных проповедников, против бессмысленных учреждений и организаций, иными словами, против дискредитированного, разоблаченного поколения взрослых, родивших тебя на свет. Не будь это поколение таким близоруким, таким бесчестным, таким прагматичным, оно могло бы избежать того ада, который над ними разверзся, или, по крайней мере, попытаться его обуздать. Подрывая устои сегодняшнего дня, твои друзья выводят на чистую воду день вчерашний, обанкротившееся прошлое, которое рухнуло под тяжестью своей вины и в котором вновь проявилось родство человека с Каином. Сегодня мы с подозрением относимся к любой области, любой сфере человеческой деятельности. Общество, которое могло привести к такой деградации, по существу, вынесло самому себе смертный приговор. Приговор, который обжалованию не подлежит.

Если твои товарищи молятся новым богам, то только потому, что старые породили Эйхмана и Треблинку. Если они не питают уважения к старшим, то только потому, что

старшее поколение жило в эпоху Собибора и Бабьего Яра. Гнев молодых — это реакция на то самодовольство, с каким живут — и умирают — их родители. Если молодые хотят говорить на новом языке, то только потому, что на языке их родителей говорили в Майданеке. Они избирают бедность и безвестность, потому что хотят походить на тех, кто жил в гетто и был таким бедным и обездоленным, каким им не быть никогда. Они дают избивать себя дубинками, следуя примеру миллионов евреев, которые задолго до них столь же неумело и тщетно призывали к отказу от применения насильственных методов.

Ты говоришь, что Маркс и Энгельс, Ленин и Сталин больше твоих одноклассников не вдохновляют. Почему? Да потому, что они были частью той системы разнообразных и противоречивых идеологий, которые подготовили почву для Биркенау, ибо были его предшественниками. Если новых святых зовут Мао, Че или Зен, то лишь потому, что с Холокостом они никак не ассоциируются.

Да, я глубоко убежден, что нынешняя волна протестов обрушилась вовсе не только на настоящее. Язык этого протеста возвращает нас на четверть века назад. Заводы и университетские здания «оккупированы». Негры поднимают восстания в «гетто». В газетных заголовках по-прежнему фигурируют Прага и Мюнхен. Для разгона демонстраций полиция использует «газ». Концентрационные лагеря в Египте и Греции. Негритянские бунты в Уоттсе и Гарлеме сравнивают с восстанием в Варшавском гетто. Про Биафру говорят, что это второй Освенцим. Политические обозреватели рассуждают о ядерных «холокостах». Расизм, фашизм, тоталитарный режим, соучастие, пассивность — во всех этих словах ощущается историческая преемственность, из-за чего твои товарищи так охотно ими и пользуются. Выступая с критикой сегодняшних режимов, они предъявляют счет вчерашнему безумию. Вот почему так важно судить общество, то самое общество, которое было и остается нашим. Разоблачая его сторонников, ты становишься на сторону его жертв.

Но помни: хотя еврей и противится ассимиляции, воздействие на свое окружение он оказывает. Его уникальным опытом воспользуются другие. Универсальности он сможет достичь лишь в том случае, если не откажется от своего еврейства. Еврей, который отрекается от себя, заявляя, что делает это ради человечества, в конечном счете обязательно отречется и от человечества. Ложь не может служить средством достижения истины; она может быть лишь препятствием.

Ты спрашиваешь, как примирить человека и еврея. Твой вопрос некорректен. Я не приемлю разделение людей на евреев и неевреев. Такого противопоставления не существует. Трудясь на благо своего народа, еврей не отказывается служить всему человечеству; напротив, тем самым он вносит в общее дело весомый вклад.

Поясню. Отстаивая права русских, арабских или польских евреев, я борюсь за права всех людей на земле. Призывая к миру на Ближнем Востоке, я выступаю против всякой агрессии, всякой войны. Протестуя против фанатичных призывов объявить «священную войну» моему народу, я протестую против удушения свободы в Праге. Стремясь возродить память о Холокосте, я осуждаю убийства в Биафре и ядерную угрозу. Только используя свой уникальный еврейский опыт, еврей может помочь другим. Еврей самоосуществляется как человек только через свое еврейство.

Вот почему в моих произведениях так громко звучит еврейская тема. Она помогает мне вплотную подойти к теме Человека, попытаться ее раскрыть.

Разумеется, не будь войны, я бы попытался реализовать себя по-другому. Я не стал бы, к примеру, писателем или, во всяком случае, не писал бы романов. Участь в маленькой иешиве и перечитывая одну и ту же страницу одной и той же книги, я никогда бы не мог вообразить, что свое существование можно оправдать, не только строго соблюдая 613 заповедей Торы.

Теперь я понимаю, что этого недостаточно. Война все перевернула вверх дном, изменила установленный порядок и суть вещей. Для меня сегодня быть евреем значит поведать историю этих изменений.

Ибо всякий, кто подвергается испытаниям либо принимает участие в событии, которое тяжким бременем ложится на судьбу человека или освобождает его, обязан передать то, что он видел, чувствовал, чего боялся. Эта обязанность лежала на евреях всегда. Еврей всегда знал, что пережить трагедию или создать картину мира и не видоизменить этот опыт в связующую нить и надежду значит его похоронить.

Таким образом, быть евреем означает в наше время быть свидетелем. Свидетелем того, что есть, и того, чего больше нет. Можно, помогая Израилю, свидетельствовать с радостью, с истинной, искренней радостью, пусть и проникнутой печалью. Или, вороша пепел Холокоста, — с гневом, со сдержанным гневом, в котором нет места бесплодной тоске. Для современного еврейского писателя нет темы более гуманной, задачи более всеобъемлющей.

Ребенком я все это знал, хотя и не отдавал себе в этом отчета и, главное, не умел выразить. И все же, как стать «добропорядочным» евреем, я не понимаю до сих пор.

В Талмуде говорится, что некий Реб Зейра решил поститься сто дней, чтобы забыть все, чему его учили, и только после этого отправился в Святую землю.

Так что же нам делать, моему поколению и твоему, чтобы вновь узнать то, что мы с каждым днем понемногу забываем? Не знаю. В этом письме я не раз повторял, что придаю больше значения вопросам, чем ответам. Объединить нас способны только вопросы.

РУССКИЕ ЗАМЕТКИ

1

Ребенком я верил, что Мессия явится на рассвете, точно переодетый в нищего принц, и мы все встретим его с радостью: раввины и их ученики, переписчики и их ученики, все в талесах и с тфилинами. Одни будут петь, танцевать или читать псалмы, другие — пить вино из золотых кубков, специальное вино, хранящееся с сотворения мира и специально предназначенное для этой цели, для этого праздника.

Теперь же я убежден — все будет иначе. Мессия придет ночью и встречен будет с горящими факелами; при этом наступит такая тишина, что даже ангелы на небесах перестанут превозносить своего Повелителя.

Так почему же ночью, а не на рассвете?

А вот почему. Случилось это на Симхат-Тора в Москве, не так давно. Я уже эту историю рассказывал, но расскажу еще раз — событие это повторилось не один раз.

Много часов подряд тысячи еврейских студентов танцевали на улице, ведущей к главной синагоге столицы. Внезапно весь квартал погрузился во тьму. Толпа стихла в надежде, что свет зажжется снова. Но вскоре мы поняли: электричество выключили нарочно, чтобы веселье прекратилось. Хватит танцевать, хватит петь. Приходите через год. Повеселились, и хватит.

Замешательство продолжалось лишь несколько секунд, после чего из тысяч глоток вырвался мощный крик негодования. Подчиниться приказу прервать веселье не желал никто. Но как бороться с темнотой? А вот как: какой-то парень свернул газету и поджег ее. Друзья последовали его примеру. Пламя переходило из рук в руки. Еще минута — и мы оказались в самом центре причудливого факельного шествия.

Никто это шествие не планировал — все произошло совершенно спонтанно. Улица превратилась в беззвучно текущую огненную реку; ее зловещая тишина нарушалась лишь потрескиванием горевшей бумаги.

Сколько времени это шествие продолжалось, уже не помню. Помню только, что все было, как во сне: студенты с факелами в руках лезли на балкон, распевая на иврите и по-русски: «Ам Исраэль Хай, Еврейский народ живет и будет жить!» «У-р-р-р-а! У-р-р-р-а!» — неслось из толпы.

— Что скажете? — спросил меня знакомый, с которым мы встретились здесь же в прошлом году. — На этот раз вы чувствуете себя увереннее?

Я кивнул — от волнения перехватило горло. Мне вспомнился вопрос, который задал мне несколько месяцев назад мой близкий друг. Ему хотелось знать, верю ли я еще, после Холокоста, в нетцах Исраэль, вечного Израиля. А во время Холокоста? Что я думал о вечном Израиле тогда? Неужели я не понимал, что всем нам наступит конец и очень скоро в этом порочном мире для совершения миньяна не останется и десятка евреев?

Тогда на вопрос своего друга я не ответил. Жаль, что его нет сейчас здесь, в этой веселой, бесстрашной толпе. Будь он среди нас, он бы ответил на свой вопрос сам.

Теперь вы понимаете, что я имел в виду, когда говорил о приходе Мессии, от которого ждут ответа на все вопросы.

Мессия придет ночью. И встречен будет не только песнями и вином и не только праведными раввинами и их учениками, но и юными евреями, которые дадут выход своим национальным чувствам, устроив шествие с факелами из газетной бумаги в самом центре Москвы.

2

В этом году на улице Архипова в Москве опять будут танцы и пение. Сюда сойдутся тысячи молодых евреев, чтобы доказать миру, что они не забыли Симхат-Тора и то, что

она символизирует, — связь с еврейской традицией и духовное родство с еврейским народом.

Но в этом году я не смогу к ним присоединиться, о чем от души сожалею. С тех пор как я впервые побывал в России, я пришел к мысли, что Симхат-Тора следует праздновать именно здесь. Точно так же, как Шавуот напоминает нам о горе Синай, а Тиша бе-Ав — о Храме, Симхат-Тора будет впредь ассоциироваться с русскими евреями. Не в Уильямсбурге и даже не в Иерусалиме, а в Москве, недалеко от Кремля особенно сильно ощущаешь глубину и величие того, как евреи умеют радоваться и помнить. Самый правоверный хасид может поучиться у самого нерелигиозного московского студента-еврея искусству радости, умению превратить песню в акт веры и неповиновения.

В последние годы я дважды становился участником празднования Симхат-Тора на улице Архипова, перед синагогой, и никогда прежде и никогда после не испытывал такого подъема душевных сил. До своего приезда в Москву я не знал, что Симхат-Тора может быть чем-то большим, чем праздник, — радостным событием и одновременно волнующим испытанием.

С тех пор в мире произошли большие изменения, которые не могли не сказаться на жизни евреев.

Шестидневная война ознаменовалась новым всплеском клеветнической «антисионистской» кампании в советской прессе. Небезызвестного Трофима Кичко реабилитировали, восстановили в Академии наук Украины и даже наградили. Его «Иудаизм без прикрас», в свое время раскритикованный мировым коммунизмом, больше Кремль не компрометирует; напротив, антисемитские теории Кичко, особенно в отношении Израиля, считаются теперь вполне приемлемыми. Высказывания советских представителей в ООН были столь резки и недвусмысленны, они так часто повторялись в Москве, что их направленность не только против Израиля, но и против советских евреев не оставляла никаких сомнений.

Власти начали кампанию устрашения, которая достигла размеров, заставляющих вспомнить о сталинских временах. Деятели синагоги вынуждены были подписать петиции, осуждающие «агрессивную политику» Израиля. Евреям угрожали по всему Советскому Союзу; их предупредили, чтобы они воздерживались от любых шагов, которые могут быть истолкованы, как поддержка политики Израиля и мирового еврейства.

Но было уже поздно.

Слушайте. 5 июня 1967 года один мой израильский знакомый оказался в небольшом русском городке. Было утро, по радио говорили о «поражениях, которые терпит государство Израиль». Поскольку в этом заброшенном городке мой знакомый не знал ни души, он решил отправиться на поиски синагоги. Несмотря на раннее утро, в синагоге собралось много людей. Сотни евреев, молодых и старых, мужчин и женщин, пришли не сговариваясь, в едином порыве — чтобы быть вместе в минуту опасности. Увидев, что у моего знакомого на лацкане пиджака символ Израиля, они встали в очередь, чтобы лично пожать ему руку. Кто-то из стариков прошептал на иврите: «Аль тира авди Яков — не бойся, мой слуга, Яков».

После возвращения в Израиль мой знакомый еще долго слышал эти голоса, эти слова; первые недели он только их и слышал.

То же самое происходило и в других городах. Когда Израиль оказывался в опасности, русские евреи находили способ выразить ему свою солидарность. Пока не все еще можно рассказать. Но когда это время наступит, некоторые истории превратятся в легенды. Будем ли мы достойны этих легенд? — вот вопрос.

Достойны ли мы грузинских евреев, которые, рискуя свободой, посылают письма Голде Меир и в Организацию Объединенных Наций, где выражают желание ехать в Израиль и жить со своим народом? Или тех молодых людей, что публично отказываются от гражданства, чтобы во всеуслы-

шание заявить о своей решимости воссоединиться со своими семьями в Иерусалиме, Хайфе и Эйлате? Подобные поступки требуют немалого мужества, как требует мужества проведение подпольных занятий ивритом, еврейской историей и еврейской литературой, а также участие в праздновании Симхат-Тора.

В Москве, Ленинграде, Тбилиси и Ташкенте с каждым годом все больше молодых людей собираются отметить этот праздник песнями и танцами. С каждым годом они узнают все больше и больше песен. Бывает, милиция задерживает студентов, однако остальные продолжают танцевать как ни в чем не бывало. У этих молодых людей пробудился интерес к прошлому, пресечь их энтузиазм уже невозможно. Чтобы выразить свои чувства, они готовы ждать целый год ради одного-единственного дня, одной-единственной ночи.

Означает ли это, что они вновь обрели религию отцов? Нет, не означает. О еврейской религии они ничего не знают, не могут знать. В СССР нет еврейских школ, нет специально подготовленных преподавателей. У этих студентов нет ничего. Для них Симхат-Тора — не религиозный праздник, а нечто другое, быть может, даже нечто большее. Для них это способ, причем единственный, отождествить себя с Кляль Исраэль, всем Израилем войти в его историю. Вот почему они не уступят. Они готовы петь и танцевать, даже если их за это будут преследовать, сажать за решетку. Для них Симхат-Тора — это все еврейские праздники, вместе взятые; в этот день и в эту ночь каждый из них устанавливает свою непосредственную связь с еврейским народом.

В этом году они опять будут отмечать Симхат-Тора с новыми песнями и с еще большим энтузиазмом. Но на этот раз меня с ними не будет, отчего я не могу не чувствовать свою вину.

ОТРЫВКИ ИЗ ДНЕВНИКА

ЖАНУ ГАЛЬПЕРИНУ

Недалеко от моей квартиры на Манхэттене находится скромный хасидский молельный дом (штибел), который напоминает мне молельные дома моего детства. Здесь, правда, молятся в подвальном помещении.

Молящиеся — в основном беженцы, бывшие жители Варшавы и ее окрестностей, и на их лицах запечатлелись долгие часы страданий. Все они прошли через концентрационные лагеря, но об этом они вспоминают только во время праздничной молитвы. Я слушаю и понимаю, что имел в виду раввин Нахман из Брацлава, когда сказал, что хочет, чтобы его рассказ о перенесенных мучениях стал молитвой.

ПЕСАХ

Черный кафтан, черная фетровая шляпа, глаза, сверкающие из-под очков в роговой оправе. Ребе Абрахам Земба запомнился мне не только тем, как он одевается. Он приятен, вполне дружелюбен, однако общается исключительно посредством комментариев к Сфат-Эмету или Кидушей-Харим, этим столпам герских хасидов. Когда он молится, видна лишь его спина, однако иногда почти чувствуешь, как он дрожит всем телом.

— На седьмой день Песаха мы все здесь читаем кадиш, — говорит он мне. — В этот день нас привезли в Треблинку. Горящее гетто мы покинули последними. В самый

разгар восстания, прячась в руинах, мы устроили седер. Пели песни.

И, помолчав, добавил:

— В Мидраше говорится, что раввин Ханина бен Досса молился с такой страстью, что, сам того не замечая, мог во время молитвы поднять огромный камень и унести его куда-нибудь в другое место.

Он так и не закончил свой рассказ, но в глазах у него таилась такая глубокая печаль, такая древняя страсть, что я понял: неподъемный камень раввина Ханины бен Досса несет сейчас он, камень пригибает его к земле, однако в своих молитвах ребе Абрахам Земба не просит Бога освободить его от этой ноши.

ШАВУОТ

Праздник, отмечающий откровение на горе Синай. Встречу народа Израилева с Богом и Торой Израилевой. Мы стоим и слушаем чтение Десяти Заповедей: не укради, не убий. Помнят заповеди, естественно, только жертвы.

Чтение кончается, и один из молящихся, как обычно, просит оказать помощь нуждающимся талмудистам. Сегодня очередь Йосефа Фриденсона. Худой, нервный, воинствующий ортодокс и издатель ежемесячного журнала на идише обращается к нам дрожащим от волнения голосом:

— Бог дал нам Закон только один раз, однако Он требует от нас исполнять его каждый день. Мы же просим только об одном: быть достойным Его Закона.

Он откашлялся и продолжал:

— Из принципиальных соображений и в соответствии с традицией мне следовало бы сейчас вознести хвалу Торе. Но делать этого я не стану, ибо это было бы излишним. Современная история сделала это за нас, неопровержимо доказав, что из всех политических систем, всех идеологий Тора была единственной, которая не предала человека. Она не создала ни лагерей, ни фабрик смерти. Приверженные уче-

нию Торы никогда не разжигали расовой розни, не подстрекали к ненависти и глумлению. Для них человек не является объектом насилия, препятствием. Они никого не осуждают, никому не мстят. Хотят они только одного: все свое время посвятить изучению Торы. Но средств на это у них нет. А значит, мы должны им помочь. Они не узнают, кто дал им деньги, мы — кому эти деньги достались. Подобная анонимность необходима, чтобы избежать, с одной стороны, тщеславия, с другой — неловкости...

Странное впечатление производит этот сбор средств. Жертвуют все, хотя почти у каждого денег в обрез. Их щедрость напоминает мне о гуманности, которой больше нет.

РОШ ХАШАНА

...Это было в 1944 году. Мы решили устроить миньян — общинную службу. Опасное решение, которое могло нам дорого обойтись. Но мы вознамерились непременно отметить Новый год, как это делали всегда, собрать, используя всю свою силу воли, весь свой энтузиазм, узников на молитву. А как же колючая проволока? Придется не обращать на нее внимания. А наши тюремщики? Придется им не подчиниться.

Молились в переполненных бараках. Из солидарности пришли даже капо, даже неверующие.

Удалось найти кантора, который помнил службу Рош Хашана наизусть. Он читал молитву вслух, и мы повторяли ее стих за стихом. Мы с трудом сдерживали слезы — так нам было себя жалко. Стоило, однако, одному из заключенных дать волю чувствам, как через минуту вместе с ним плакал навзрыд весь барак. Мы вспоминали семью и друзей, то время, когда Европа была прибежищем раввинов и их учеников, тысяч синагог и миллионов верующих. Мы вспоминали прошлое, когда семья была едина, когда родителей и детей, мужей и жен не разлучали. Мы оплакивали мертвых и живых, исчезнувшие дома и оскверненные святыни, мы рыдали без

стыда и надежды, и нам казалось, что рыдать мы будем до конца наших мучений, до тех пор, пока последний из оставшихся в живых не издаст последний вздох...

Вдруг один из заключенных вышел вперед и заговорил:

— Братья, выслушайте меня. Сегодня — Рош Хашана, вступление в новый год. И хотя мы умираем с голоду, оплакиваем ушедших родных и близких и находимся на грани безумия, давайте же не будем забывать наши давние обычаи и традиции. В те дни после молитвы мы шли к нашим родителям, нашим детям и друзьям пожелать им счастливого Нового года. Где они сейчас, мы не знаем, а вернее, увы, знаем. Давайте тем не менее выскажем наши добрые пожелания, и пусть Бог передаст их тем, кому они предназначены.

И, словно желая сотрясти небо и землю, мощный хор голосов грянул: «Счастливого Нового года! Счастливого Нового года!»

А говоривший между тем продолжал:

— Прежде чем мы расстанемся, нам следует произнести кидуш, благословить хлеб и освятить вино. Хлеба у нас нет, вином напиваются наши враги. Не важно, мы возьмем наши оловянные кружки и наполним их нашими слезами, и тогда Бог и его посланцы на земле услышат наш кидуш.

...И вот, много лет спустя, в этом жалком хасидском штибеле я вижу того самого оратора, Шимона Цукера, — он раскачивается взад-вперед во время той же самой службы Рош Хашана. Когда-нибудь, говорю я себе, наберусь смелости, пойду к нему домой и буду слушать, как он освящает вино и благословляет хлеб.

ЙОМ КИПУР

Эту историю я услышал от одного упрямого, но весьма колоритного старого еврея.

— Накануне Йом Кипура мертвые и живые соединяются, — начал он свой рассказ. — Что, не верите? Думаете, это предрассудок? И я раньше так думал. А между тем...

Последний Йом Кипур войны. Весь лагерь слушает, как кантор трижды поет Кол-Нидре. Затем следует маарив, а за ним видуй, исповедь, в которой перечисляются все грехи и проступки, которые только мог совершить или вообразить себе человек от рождения до самой смерти. В середине этого перечисления происходит нечто непредвиденное. Изможденный узник с пепельно-серым лицом грубо отталкивает кантора и обращается к собравшимся:

— Братья, я не потерплю лжи. Нет, мы не грешили, мы не предавали, мы не грабили таких же, как мы! Сегодня, впервые со времен сотворения мира, мы — не обвиняемые, мы — судьи. Приговор будем выносить мы. В противном случае мы не выполним свой долг.

Узник, стоящий справа от меня, хватая меня за локоть.

— Это... это он, — шепчет он, бледнея от ужаса.

Я вытягиваю шею, чтобы лучше разглядеть говорящего... и в смятении отвожу глаза. Я знаю его, он работает в моей бригаде. Но вчера, перед самым возвращением в лагерь, его у всех на глазах забил до смерти надсмотрщик. Его труп принесли и положили перед перекличкой возле барака.

— Я пришел оттуда, — говорит мертвец, указывая на небо, — и знаю правду. У нас отобрали все, в нас уничтожили все, даже возможность радоваться. Если когда-нибудь, с тех пор как на земле появился человек, были люди, лишённые всех земных привязанностей, то эти люди — мы. Наши мучители задушили в нас даже способность творить зло. Мы соблюдаем все заповеди. Не убиваем, не алчем, не лжесвидетельствуем и не лицемерим. В отличие от наших палачей, лишаящих человека жизни всеми возможными способами. И я спрашиваю вас, братья: почему мы берем их преступления на себя?! Давайте же наберемся смелости и заявим о нашей невинности, а также о нашей решимости стать судьями...

Придя в себя от потрясения, мы заставляем его замолчать, и кантор, дрожа, вновь читает видуй с самого начала. И осужденные на смерть узники снова произносят вслед за

ним привычно обманчивые формулировки, пытаюсь забыть только что услышанное.

Мы говорим, что виноваты, и, может быть, сами в это верим. Нам, вероятно, надо считать себя виноватыми, потому что, если мы не виноваты, значит, Бог не знает, что делает, и не делает того, что хочет. Вопреки колючей проволоке или из-за нее мы пытаемся верить, что Бог существует и что в Его книге все и в самом деле взвешено, оправдано и осуществлено.

После молитвы я вновь бросаю взгляд на вернувшегося с того света. Вот он: мелькает в толпе, умоляя товарищей не отвергать его, попытаться увидеть то, что видит он, и своей верой поддержать его праведный гнев. Но его не слушают.

Кто-то даже говорит:

— Притворяешься покойником? Нас покойниками не удивишь.

Ему вторит другой:

— Ты забыл, где находишься. Твоя правда так же мертва, как и ты.

И третий:

— Здесь отрицать существование Бога всякий может. Для этого большого мужества не требуется.

Уничтоженный нашим единоклассником скепсисом, бывший узник возвращается на небеса. Но там его не ждут и отправляют обратно: находясь на земле, он раскрыл то, что раскрывать не следовало. И если он вновь явится на чтение Кол-Нидре, то лишь для того, чтобы заглазить свою вину.

...Старый еврей закончил свой рассказ.

— Кто же он, этот ваш сердитый мертвец? — спрашиваю я. — И что произошло с ним потом?

И тут я вижу, как безжизненные глаза старика наливаются кровью. Он оскорблен до глубины души.

— Как вы смеете? — кричит он.

И принимается оскорблять и унижать меня: «Вы, молодые, думаете, что умней всех!»

СУББОТА

Вот что заметил как-то израильский писатель Моше Прагер:

— В лагерях были капо из Германии, Польши, Венгрии, Чехии, Словакии, Бельгии, Украины, Франции и Литвы. Капо становились христиане, евреи и атеисты. Бывшие профессора, промышленники, художники, купцы, рабочие, политики правой и левой ориентации, философы и исследователи человеческих душ, марксисты и стойкие гуманисты. И естественно, самые обычные преступники. Но не равнины.

МОЛИТВА

Я больше не прошу у Тебя ни счастья, ни рая. Я прошу только об одном: выслушай меня и дай мне знать, что Ты меня слушаешь.

Я больше не прошу Тебя решать мои проблемы. Прошу лишь вникнуть в них, чтобы они стали частью Тебя.

Я больше не прошу у Тебя ни покоя, ни мудрости. Прошу только не лишать меня чувства благодарности, пусть и самой банальной, а также умения удивляться и дружить. Любить? Любовью Ты не распоряжаешься.

Что до моих врагов, то я не прошу Тебя наказать их или хотя бы образумить. Прошу лишь не передавать им Твоей личности и Твоей силы. Если же Ты обязательно должен одарить их либо личиной, либо силой, отдай лучше силу. Но не лик Свой.

Мои просьбы скромны и непритязательны. Я прошу у Тебя не более того, что могу попросить у незнакомца, которого встретил случайно, в сумерках, в бесплодной земле.

Я прошу Тебя, Бог Авраама, Исаака и Иакова, позволить мне произнести эти слова, не предав ребенка, который передал их мне: «Бог Авраама, Исаака и Иакова, позволь мне простить Тебя и позволь ребенку, которым я когда-то был, простить и меня тоже».

Я больше не прошу Тебя за этого ребенка и даже за его веру. Прошу только выслушать его и устроить так, чтобы Ты и я могли выслушать его вместе.

ХАСИДСКИЙ ПРАЗДНИК

Вчера, в субботу, я присутствовал на импровизированном приеме в честь молодого профессора, который приходит в этот штибел по той же причине, что и я. Он восхищен этими чудом уцелевшими людьми, представителями другой эпохи, что упрямо борются с забвением и горестями.

Глава небольшой общины ребе Лейбеле Чивяк уже начал службу, когда к нему подошел один из хасидов и на ухо прошептал:

— Говорят, наш юный гость на этой неделе женится.

Служба прерывается, и хасиды, окружив жениха, поздравляют его и желают всего самого лучшего. Ребе Чивяк делает вид, что обижен.

— Что ж вы нам ничего не сказали?! — восклицает он с напускной суровостью. — Во-первых, согласно обычаю, вас следует призвать к Торе. Во-вторых, знай я, что вы женитесь, я бы устроил прием, настоящий кидуш, как полагается. Но вы предпочли лишить нас этого удовольствия. Нехорошо, молодой человек, очень плохо.

— Видите ли... Зачем вас беспокоить? В конце концов...

— Говорите, зачем нас беспокоить? Нет, вы слышали?! Он отказывает нам в таком удовольствии и еще ждет от нас благодарности! Вы побеспокоили нас тем, что не предупредили заранее, если уж на то пошло... Нехорошо, очень плохо...

— Простите меня... Это не столь важно... Не люблю при-
емов...

— Какой же вы эгоист! Только о себе и думаете! А как же мы? Мы, выходит, уже ничего не значим? Написано ведь...

— Нигде не написано, что жениха следует развлекать до свадьбы. Во время свадьбы и после — да. Но не до.

Сижу в углу и наблюдаю за молодым человеком. Он взволнован, но держит себя в руках. Смущен, напуган, только и всего. Изо всех сил старается не покраснеть. Все равно краснеет.

Замечаю известного философа Абрахама Хешеля. Он тоже наблюдает за женихом.

— Почему у вас такой печальный вид? — спрашиваю.

— Я смотрю на этого молодого человека и вижу его совсем в другом месте. Если б не война...

— Если бы...

— ...Знаю, знаю. Но случается, я так глубоко задумываюсь, что переносусь во времени. И вижу себя вновь — таким, каким был раньше. И вспоминаю. Вспоминаю давнишние обычаи. В последнюю субботу перед свадьбой весь город сопровождал жениха в синагогу. С ним обращались, как с принцем, сажали на самое почетное место. Когда его призывали к Торе, все присутствующие вставали. А после того как он произносил традиционную молитву, его забрасывали орехами, изюмом, прочими сладостями — символами изобилия и добрых пожеланий. Затем его с помпой доставляли домой. Танцы, пение и возлияния в его честь продолжались часами. Старики рассказывали истории, певцы сочиняли песни. А теперь...

— Ничего не поделаешь, — говорю я, словно бы защищая молодого человека. — Меняются времена — меняются обычаи. Мы разучились радоваться и веселиться.

Молчим. Мы знаем, молодой профессор потерял родителей. Лучше всего, вероятно, оставить его сейчас наедине со своими мыслями.

Уже поздно. Служба продолжается. А Лейбеле Чивяк и его друзья шепчутся в углу:

— Что? Отпустить его вот так, без всего?

— С пустыми руками?

— Немыслимо...

— Об этом не может быть речи...

— Давайте устроим...

— ...прием? Через час? Не в Шабат же? Невозможно...

— А что, если...

Молодой профессор ходит сюда нечасто, но с учетом его нового статуса нельзя не оказать ему все причитающиеся почести.

Все дети Израиля равны; их следует любить равным образом и, если понадобится, свою любовь доказать.

— Хорошо, — говорит ребе, — не волнуйтесь. Справимся. Про нас нельзя будет сказать, что мы не храним традиции.

Он быстро снимает свою ритуальную шаль и исчезает за дверь, ведущей к нему в квартиру. Через полчаса ребе возвращается. Его лицо сияет.

Подхватывает молитву — мы как раз дошли до чтения Торы. Ему, опытному режиссеру, удастся незаметно, не привлекая внимания жениха, поддерживать связь с молящимися.

К биме молодого человека вызывают последним. Он начинает читать заключительную молитву, и тут, по сигналу ребе, все остальные делают несколько шагов назад. В какой-то момент молодой человек замечает, что кругом никого нет. Замешательство и испуг на его лице сменяются удивлением — он стоит под дождем падающих на него со всех сторон орехов и конфет, и ему начинает казаться, будто он и по сей день живет в мире, где отец ни за что не даст его в обиду.

Я вижу, как он закрывает глаза и дрожит всем телом. Сейчас ему вдруг открылось то же, что и мне, когда я пытаюсь, посредством воображения, вернуться в безвозвратно ушедшее прошлое. Сейчас он, несомненно, преодолевает

расстояние, отделяющее его от этого прошлого. В любую секунду молодой человек даст волю чувствам, и из глаз хлынут слезы, которые он так долго сдерживал.

Но нет, не здесь, не сейчас, говорит он, вероятно, себе, мне нельзя расслабляться. Ни здесь, ни в любом другом месте, никогда... Подумай о чем-нибудь еще, повернись к настоящему. Ты не должен распускать нюни. Крепись. До боли стисни кулаки, до крови кусай губы — чтобы не было ни одной слезинки. Не зря же все эти годы ты закалял свою волю. И, сделав над собой усилие, которое, он надеется, останется незамеченным, молодой человек читает хафтару и поет молитву; голос не выдает его ни разу.

Исполнив свой долг, он возвращается в угол. Вторую половину службы сидит бледный, как мел, — сейчас ему, должно быть, особенно одиноко.

Но история на этом не кончается. У ребе Лейбеле Чивяка припасены и другие сюрпризы — после службы все приглашаются на импровизированный прием. Чем нас только не угощают: и вином, и ликерами, и водкой... На хасидском празднике есть всё!

Кто-то выкрикивает:

— А мы и не знали, ребе Чивяк, что вы умеете творить чудеса!

И наш хозяин, который не может не гордиться своей распорядительностью, отвечает:

— Сохранение традиций — вот истинное чудо!

Мы наполняем бокалы, мы пьем за здоровье молодого человека, за его счастье, поем одну песню, другую. Всё почти так же, как раньше, тогда, по ту сторону войны. Однако молодой человек по-прежнему молчалив, погружен в себя, он глубоко, тяжело дышит, словно пытаясь успокоить сильно бьющееся сердце. Ему не хватает воздуха, на лбу выступают капли пота. Я знаю, мыслями он с теми, кого здесь нет, — на глазах у него пелена, выражение лица отсутствующее. Знай он, где покоятся их останки, и он поехал бы куда угодно, чтобы, в соответствии с традици-

ей, пригласить их на похороны. Но могилы нет — ехать некуда.

За столом все стараются его развеселить; одни, чтобы поднять ему настроение, подзадоривают, другие что-то шепчут на ухо.

Ребе Лейбеле Чивяк просит тишины:

— Однажды раввин из Гере, да хранит нас его священная память, поинтересовался у одного из своих учеников: «Как дела у Моше Йакова?» Ученик не знал. «Что?! — вскричал ребе. — Не знаешь? Молишься с ним под одной крышей, штудируешь одни и те же тексты, служишь тому же Богу, поешь те же песни — и еще смеешь говорить, что не знаешь, здоров ли Моше Йаков, нуждается ли он в помощи, совете и утешении?!»

В этом вся суть хасидизма, — подытожил наш хозяин. — Хасидизм требует, чтобы каждый человек участвовал в жизни другого человека, не покидал его ни в радости, ни в горе.

Бросаю украдкой взгляд на почетного гостя — напряжен еще больше, чем раньше. В подвальном помещении полумрак, да и глаз за темными стеклами очков не разглядишь, но то, что ему плохо, видно сразу. Губы беззвучно шевелятся. Сдерживается из последних сил.

Одно выступление следует за другим. Согласно обычаю, мы поем хвалу жениху. Слышит ли он, что мы поем? Как его расхваливаем? Чего желаем? Что видят в эти минуты его глаза? Какие образы возникают перед его мысленным взором? И из каких глубин он их черпает? И почему он так подавлен, почему с трудом сдерживает слезы? Почему не даст волю чувствам, не разрыдается? Кому и что он хочет доказать? Сидит с опущенной головой, общается с нами против воли, погружен в себя, в свои мысли — чужой на собственном празднике.

Я чувствую, как ему тяжело, и мне хочется взять его за плечо и сказать: «Прогони свою печаль, подыми глаза и посмотри — кругом друзья, не отталкивай их от себя». Но я

молчу — здесь я такой же гость, как и он, и брать на себя инициативу не хочу.

А вот профессор Хешель инициативы не боится.

— Вы что, танцевать разучились? — говорит он, поворачиваясь к гостям.

Для хасидов нет ничего лучше танцев. Столы и лавки сдвигаются в угол, и не успевают собравшиеся встать в круг, как вся община запекает хором. Поют хасиды так слаженно, так быстро и весело, песня полна такого ритма и огня, такой неумемной страсти, что кажется, будто она разносится по всей земле. Они танцуют рука об руку, плечо к плечу, лица покраснелись, сердца полны радости. Круг то расширяется, то сужается. Танцующие расходятся, потом опять сходятся, теряют и вновь находят друг дружку; и вот они уже неотделимы от песни, они — сама песня. Песня одержала победу над молчанием и одиночеством, ведь для других мы существуем точно так же, как и для самих себя. И поем мы для того, чтобы песня заглушила яростный шум всех тех лет, что гулко разносятся в нашей памяти. И чтобы доказать нашим предкам: смотрите, цепочка не разорвалась. Мы поем одну и ту же песню десять раз, сто раз — чтобы не расстаться с ней, чтобы не расстаться друг с другом. Поем так, как ее пели в Вишнице и в Сигете. И хасиды танцуют так, как танцевали в Гере. Громче, быстрее! И пусть песня станет танцем, а танец — песней. Пусть радость придет к сиротам и к их друзьям, радость бурная и безмятежная, радость для всех и каждого, радость творения и сотворения.

Из-за вывихнутой ноги я не танцую — наблюдаю за танцующими со стороны. С самого начала молодой человек то и дело закрывал глаза. Даже сейчас, хоть он и дал хасидам втянуть себя в круг, он уставился в пол, молчит, зубы стиснуты. Понимает ли он, что делает, где находится? И тут мне открывается то, что открылось ему. Мы в другом городе, в другой синагоге, в окружении совсем других гостей. Он узнает их, он знает их — это родители, дяди, двоюродные братья и сестры, учителя, соученики, друзья. И все бормочут:

«Спасибо, что пригласил нас, спасибо, что дал возможность провести с тобой этот Шабат. Мы обязательно придем на твою свадьбу».

Только теперь в первый раз он дает волю чувствам. Все крутится вокруг него, внутри него. Нечего больше стыдиться, незачем бояться угрызений совести. Сквозь веки, словно бы закрытые навсегда, он чувствует, как сбегают по щекам первые его взрослые слезы. Слезы текут и текут, обжигая лицо.

Интересно, глаза у него по-прежнему печальные?

КОНЕЦ ПУТИ

ДВЕ ЛЕГЕНДЫ

Когда пришла очередь идти на римскую пытку раби Ишмаэлю, раздался голос с небес:

— Ишмаэль, сын мой, крепись. Если зарыдаешь, я низвергну мир обратно в хаос. Одна единственная слеза поглотит все мироздание.

И раби Ишмаэль не зарыдал. Несмотря на зияющие раны, несмотря на свой гнев. И мир уцелел.

Завернувшись в мантию пророков, Элиша собрал жителей деревни и рассказал им страшную и непонятную историю. Только что он собственными глазами видел, как его хозяин вознесся живым на огненной колеснице прямо на небеса. Чтобы никогда больше не возвратиться.

Жители деревни, за исключением детей, ему не поверили. И тогда Элиша начал рассказывать эту историю сызнова. Детям.

...Ну а теперь, сказитель, переверни страницу. Поговори с нами о чем-нибудь другом. Пусть твои безумные пророки, твои старики, опьяненные тоской по прошлому, твои бесноватые возвращаются к себе, в царство теней. Довольно — они ведь и без того пережили свою смерть больше чем на четверть века. Если же они отказываются уходить, то пусть, по крайней мере, молчат. Любой ценой. Любым способом. Передай им, что молчание в большей степени, чем язык, остается основой и символом того, что когда-то было их вселенной. И что, как и язык, молчание требует признания и передачи из поколения в поколение.

СЛОВАРЬ ЕВРЕЙСКИХ СЛОВ И ПОНЯТИЙ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ТЕКСТЕ

Амида — молитва, состоящая из восемнадцати частей, «благословений». Читается стоя, во время празднования Рош Хашана.

Бар-мицва — религиозный обряд совершеннолетия, который мальчики проходят в 13 лет.

Бима — возвышение в синагоге для чтения Торы, проповедей и канторского пения.

Видуи — покаянно-исповедальные молитвы, читаются в Йом Кипур.

Земирот — религиозные песнопения, исполняются во время праздничной субботней трапезы.

Зохар («Сияние») — основной труд выдающегося каббалиста рабби Шимона бар-Иохая, жившего во II веке.

Иешива — высшая еврейская религиозная школа, готовящая раввинов и преподавателей иудаизма.

Йом Кипур (Судный день, День прощения) — день поста, покаяния и отпущения грехов, один из самых важных еврейских праздников. Отмечается в конце сентября — начале октября. Служба в Йом Кипур обычно длится с утра до ночи с коротким перерывом.

Кадитш — поминальная молитва.

Кидуш — благословение над бокалом вина, которое читается вечером, с наступлением субботы или праздника.

Ковчег Завета (Арон Кодеш) — шкафчик у середины восточной стены синагоги, в котором хранятся свитки Торы.

Кол-Нидре («Все клятвы») — молитва, открывающая вечернюю службу в Йом Кипур.

Маарив — вечерняя молитва.

Меламед — учитель в еврейской религиозной школе.

Мидраш — древние устные комментарии к Торе.

Миньян — минимальный кворум, 10 мужчин старше 13 лет, для ряда молитв и ритуальных действий.

Осенние праздники — Рош Хашана, Йом Кипур, Сукот.

Песах (Пасха) — праздник, посвященный освобождению евреев из египетского плена и началу существования евреев как нации. Обычно отмечается в апреле.

Рош-иешива — глава иешивы.

Рош Хашана (на идише — Рошашонэ) — еврейский Новый год. Обычно приходится на сентябрь. По еврейской традиции, в этот день решается судьба человека на ближайший год.

Седер — пасхальная вечерняя трапеза.

Симхат-Тора («Радость Торы») — праздник, знаменующий окончание годового чтения Торы и радость от возможности нового возвращения к ней. Один из самых веселых еврейских праздников. Отмечается в октябре.

Талес — ритуальная накидка прямоугольной формы с кистями по углам, которой покрывают голову и плечи во время утренней молитвы.

Тиша бе-Ав — девятое число месяца Ав, день поста в память о разрушении Храма.

Филактерии (тфилин) — переписанные на пергаменте стихи Пятикнижия, находящиеся в двух кубических коробочках. Одну из них укрепляют с помощью ремешков на лбу, а другую — на левом предплечье.

Хафтара — отрывок из пророческих книг Библии, который читают в синагоге по субботам, праздникам и в дни поста после чтения очередного раздела Пятикнижия.

Хекдеш — богадельня.

Шавуот (на идише — «Швуэс») — праздник дарования Торы на горе Синай. Празднуется на 50-й день после Песаха.

Шехина — присутствие Бога в мире людей.

Штетл (идиш) — местечко, маленький городок.

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Георгий Чистяков. Возвещая роду грядущему</i>	5
--	---

СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Следующее поколение	13
Начало пути	21
Диалоги I	35
Чтения	42
Любительские фотографии	49
Диалоги II	55
Часы	62
Истории	68
Скрипка	74
Первый гонорар	79
Диалоги III	86
Ожидание	94
Конец революционера	106
Смерть моего учителя	118
Послевоенные годы. 1948	124
Послевоенные годы. 1967	130
Мотта Гур	135
Озабоченному другу	142
Юному немцу из новых левых	151
Еврейскому юноше, моему современнику	157
Русские заметки	168
Отрывки из дневника	173
Конец пути	187
<i>Словарь еврейских слов и понятий, встречающихся в тексте</i>	188

Эли Визель
Следующее поколение

Редактор И.В.Опимах
Художественный редактор Т.В.Иващенко

Визель Э.
В42 Следующее поколение: Пер. с англ. — М.: Текст,
2001. — 191 с.

ISBN 5-7516-0211-0

Книга Эли Визеля (род. 1928), лауреата Нобелевской премии мира 1986 года, испытавшего на себе все ужасы немецких концлагерей — писатель прошел через Биркенау, Освенцим и Бухенвальд, — посвящена трагедии Холокоста, истории создания государства Израиль и положению евреев в современном мире.

ББК 84(7Сое)

Лицензия ИД № 03308 от 20.11.2000
Подписано в печать 13.02.2000. Формат 60 x 90/16.
Усл.печ.л. 13. Уч.-изд.л. 8,12. Тираж 3600 экз. Изд. № 343.
Заказ 2777

Издательство «Текст»
125299 Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 7/1
Тел./факс: (095) 150-04-82
Представитель в СПб. и «Книга — почтой»: (812) 311-96-31

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»
143200 г. Можайск, ул. Мира, 93

Эли ВИЗЕЛЬ, лауреат Нобелевской премии мира (1986), родился в 1928 году в Румынии. В юношеском возрасте испытал на себе все ужасы концлагерей, пройдя через Биркенау, Освенцим и Бухенвальд. В 1963 году принял гражданство США. Написал 25 романов, большая часть которых связана с темой Холокоста, жизнью евреев в Израиле и в других странах. Среди наиболее известных его произведений — автобиографическая повесть «Ночь», романы «Клятва» и «Нищий в Иерусалиме». Лауреат многих литературных и гуманитарных наград.

ISBN 5-7516-0211-0



9 785751 602116

